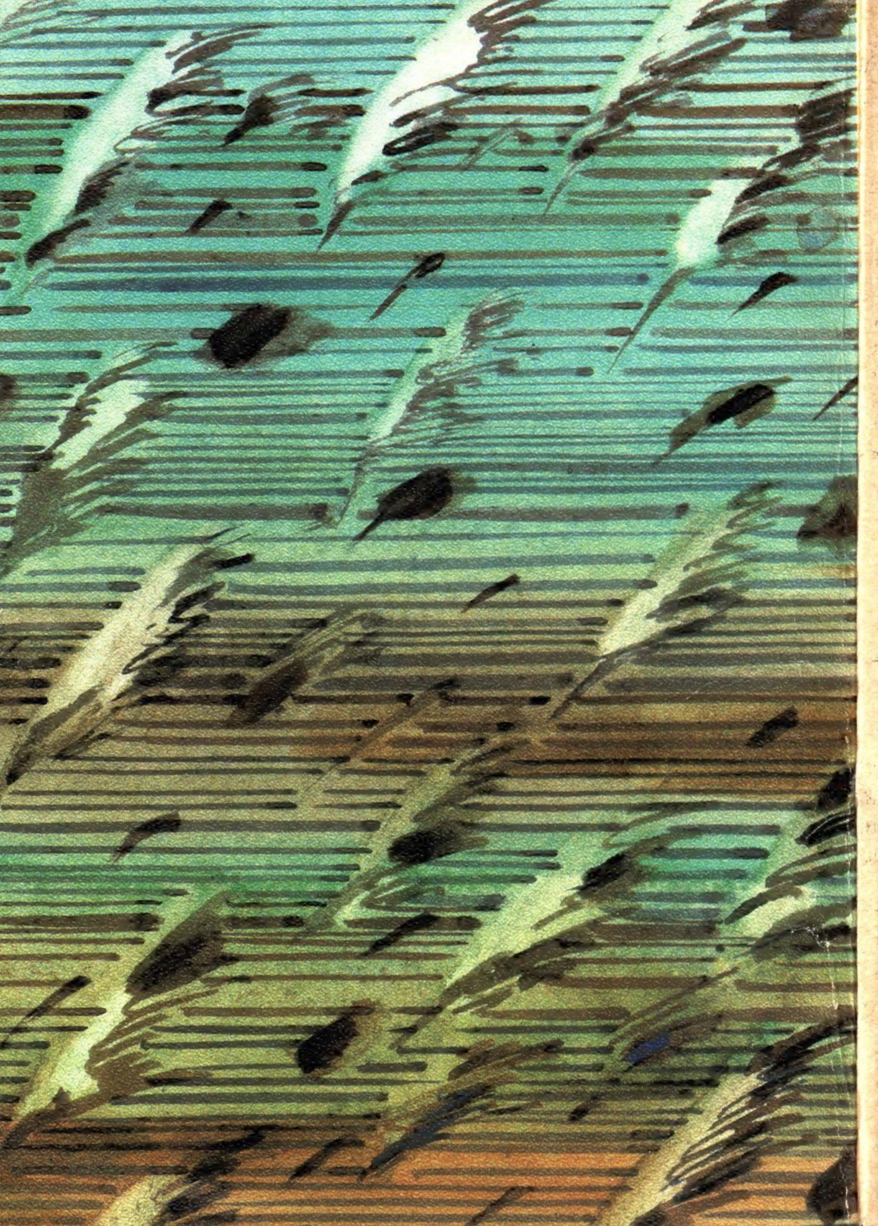
Родник возле дома

Юрий Рязанов





Юрий Рязанов

Родник возле дома



Рассказы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1991

ББК 84Р7
Р 99

Редактор С. В. Марченко

Р $\frac{4803010201-030}{М 158(03)-91}$ 55-91

ISBN 5—7529—0380—7



ПОЛУДЕННАЯ ЗВЕЗДА

— Валька! Стасик! Не пейте от пуза,— приказал Юнька.— Имейте совесть...

После обращения к совести оба малыша усерднее зачастили к бидончику, с удовольствием извлекая его из-под вороха увядшей травы, и вскоре опорожнили.

А солнце жарило, как мне казалось, по-африкански, нещадно. И укрыться на поле было негде. Несколько тополей, их верхушки виднелись с железнодорожного переезда, манили под свою тень, да не уйдешь — работа. Усугублял нашу жажду сухой ветерок — тягун, пыливший при каждом взмахе тяпкой.

Пришлось установить норму питья за раз. Теперь каждый жаждущий подходил ко мне и получал законный глоток из болтавшейся на сыромятном ремешке через мое плечо солдатской фляги, налитой под горловину нынешним утром.

Я бросал тяпку, доокучив очередной картофельный куст, отвинчивал пробку-стаканчик и аккуратно наполнял его.

— Еще,— заскулил Стасик.— Пить хочу...

— А ты терпи.

— Не хочу терпеть!

— А как же на фронте? Кино «Тринадцать» видел?

— Так то — в пустыне...

— А здесь, на седьмом километре, река, что ли, течет?

Ну где я тебе воды достану? Колодец, что ли, выраю?

«Колодец... А на переезде...» — припомнил я.

Стасик захныкал. Его поддержала Валька, прекратив выдергивать полынь, зловредный осот и прочие сорняки, сплошь затянувшие полосу Бобыньковых.

— Жадина,— канючил Стасик.— Воды жалко. Если б не было, а то — целая фляжка.

— На, пей,— не выдержал я.— А обедать с чем будем?

— И мне,— подсунулась под руку Валька.— Обедать не будем. Домой пойдем.

— Ишь ты — домой. Обрадовалась,— вмешался Юнька.— Куда в вас лезет? Весь битон выдули. Только и бегаете пить — лишь бы не работать. Саботажники...

Фляги хватило ненадолго. Убедившись в том, что обе посудины пусты, Стасик с Валькой на некоторое время отстали от нас. Братишка тяжко вздыхал, вытягивая из горячей земли жилистые корни пырея.

Близился полдень, а полосе шириной в восемь рядков и конца не было видно.

Я подошел к другу.

— Недалеко от переезда видел барак, желтый такой? — спросил я.

— Ну?

— За ним не заметил ничего?

— Сортир побеленный. А что? Вон — кустики...

— Не о том я. Подальше, метрах в десяти в другую сторону,— вроде бы колодец? Не засек?

— Не-ка. Иди разведай. А я потяпаю. Бидон и флягу захвати заодно.

— Добро. Попёхал я.

Невозможно предугадать, чем закончился бы мой поход, не увяжись за мной Стасик. Ему, наверное, очень надоело нудное занятие: рвать упрямую и колючую траву, и он надумал прогуляться со мной по вольному полю.

— Ведь ты сам напросился на подмогу Бобыньку. Почему же лентихвостишь?

— Из колодца хочу попить. Тебе можно, а мне?
И всегда так: а мне? Не желает понять, что я его старше — на целых четыре года и поэтому — давно взрослый, а он — нет.

Чтобы Стасик не заревел, пришлось уступить. Он сразу повеселел, стал ко мне подмазываться, напросился на обратном пути полный бидон нести. Словно у меня сил не хватит самому тот бидон литровый дотащить. Но мне почему-то стало жалко братишку. Наверное, потому, что я его обижал часто, многого не позволял ему. А напрасно. Ну, почему бы не взять его с собой к колодцу или самому пригласить — братишка все-таки, еще и младший.

Стасик обрадовался неожиданной милости:

— Держи фляжку. На пока.

И вот уже фляга при каждом шаге пошлепывает его ниже колен.

Возле барака мы никого не встретили, поэтому и разрешения просить ни у кого не пришлось. Площадка вокруг колодца усыпана острым, как битое стекло, шлаком. Осторожненько ступая, достигли сруба. Откинули дощатую крышку. Я заглянул в колодец. Где-то очень глубоко поблескивала черная вода, приятно снизу обдавало сырым холодом. Пригляделся внимательней. Там, на самом дне, что-то смутно белело.

— Стаська, ну-ка глянь, что это там виднеется? Да не перевешивайся так.

— Ничего там нету,— уверенно заявил брат.

— Ты что — ослеп? Вон белеет... Похоже — шевелится. На поросенка похоже.

Стасик испугался, отпрянул.

— А что, поросенки в колодцах живут?

— Факт — не живут.

— А русалки?

— Так то ж из сказки.

— Ну и что?

— Эх ты. Ничего не знаешь. Русалок вообще не бы-



вает. Их Пушкин выдумал. Фонариком бы посветить... А если на дне клад спрятан?

— Ага, клад,— охотно согласился Стасик.

— Жаль, некогда. А то спуститься бы да посмотреть.

— Страшно...

— Тебе — страшно. А я спустился бы... Запросто.

Стасик восхищенно глянул на меня и опасливо покосился на провал колодца.

— Давай... Да крышку-то сними.

Стасик подал мне бидон.

Я продел в ручку конец толстой веревки, затянул ее петлей и опустил его в колодец, крутанул бревно и залюбовался ручкой, вращавшейся наподобие пропеллера,— виден был лишь светлый круг.

Раздавшийся всплеск возвестил, что бидончик достиг цели. Когда мы вытащили его, воды в нем оказалось едва ли больше половины. Я перелил ее во флягу. И снова ручка, бешено вращаясь, образовала светлый круг. Шлеп! Я дернул веревку влево-вправо, чтобы зачерпнуть побольше. Опять налегли со Стасиком на рукоять. Она поддалась что-то уж слишком легко. Мелькнула догадка: неужели отвязался? Показался конец веревки — так и есть! Досада-то какая! Чужой бидон-то. Да чей бы ни был — жалко, вещь нужная в хозяйстве. С ним Юнька в заводскую столовку за стахановскими отцовскими обедами ездит.

— Утонул? — не веря в случившееся, спросил Стасик.

Я всмотрелся в узкую шахту колодца. На дне его вроде бы светлело что-то более яркое, чем ранее замеченный «поросенок».

— Стасик, я полезу. А ты тут будь. И не свешивайся вниз, а то загремишь...

— А как тебя вытаскивать?

— Сам вылезу. По веревке. А потом и бидон поднимем. Я его к концу привяжу. Заодно разведаю, что там белеет.

Стасик оторопело уставился на меня.

— Ну, чего ты?

— Я? Ничего.

Но я-то знал — не скажет: «А я?»

И вот я повис над бездной. Торможу спуск ногами. Все идет хорошо. Надо мной уменьшается и словно темнеет голубой квадрат с перекладиной барабана, к которому привязана веревка. С перекладиной перемещается и голова Стасика. Нет, это я раскручиваюсь на веревке.

Посмотрел вниз — вода совсем близко. Несколько раз тиранулся плечами и спиной о сырые бревна сруба. На песчаном дне на боку лежит, матово отсвечивая, бидон. На стыке сруба над поверхностью воды навис ледяной козырек. Это с него срываются гулкие капли. Вот что белело-то — не догадались. Не ахти, конечно, подходящая площадка — босиком на льду стоять, но, если изловчиться, можно бидон быстро подцепить, держась другой рукой за веревку.

Перехватываюсь, чтобы опуститься пониже, и... все тело разом обдает кипятком — я с головой окунаюсь в поистине ледяную воду. Выныриваю и не могу ни выдохнуть, ни вдохнуть новую порцию воздуха. Цепляюсь — напрасно — за скользкие бока бревен. Отчаянно работаю руками и ногами.

— Гера! Где ты?

Голос брата до неузнаваемости искажен. Он точно бьется, раскалываясь, о стены сруба. Ответить нет возможности — холод стиснул грудь и сжал горло.

Ноздреватая глыба льда висит надо мной — рукой не дотянуться, высоко. Барахтаюсь, крутясь в тесном квадратном пространстве, и вдруг замечаю железную скобу, вбитую в бревно. Ухватился за нее, но пальцы не чувствуют твердости металла. Кричу:

— Ста-а-сик!

— Ага...

— Беги на переезд. Слышь? Попроси новую веревку. Беги же скорей!

Наконец Стаськина голова исчезла.

Дрожь колотит меня — зуб на зуб не попадает. Перед глазами осклизлые бревна и ржавая скоба,— к счастью, крепко сидит в дереве.

Колодец-то вовсе не такой мелкий, каким мне показался,— с головой окунулся, да и дна, похоже, не достал. А бидон — вот он, близехонько лежит вроде бы. Прозрачная вода — какая же она обманчивая.

Держусь за скобу обеими руками, но какая-то она ненадежная, неосязаемая. Мое спасение — там, наверху.

И я не отвожу глаз от синего квадрата над головой, разделенного посредине воротом, шевелю ногами, словно еду на велосипеде.

Лишь бы руки-ноги судорогой не свело. Наслышан я — именно так гибнут люди, попав в холодную воду.

Птица камнем пролетела над колодцем. Господи, как хочется оказаться там, наверху!

Стасика все нет и нет. А что, если пальцы разожмутся сами? Я опять бултыхнусь в пагубную глубину. И — все. Нет! Я упираюсь левой, тяжеленной, ногой в угол сруба. В воде остается лишь правая, и то — по колено. Напрягаю все свои мускулы, чтобы удержаться в такой позе.

Капли отрываются, набухнув, с ледяной глыбы, булькают, отсчитывая время.

Повторяю про себя: спокойно! Не паникуй! В голову же лезет: а если железнодорожников нет дома? Если никого нет в том бараке,— что тогда? И убеждаю: я должен продержаться, пока не придет подмога, должен!

Кап-кап, буль-буль... Это звучит само время, отмеряемое каплями тающей глыбы...

Козырек тает. Идут ледяные часы. Кап-кап! Это маленькие капельки. Буль-буль! Капли-толстухи.

Запрокидываю голову, чтобы опять взглянуть на спасительный квадрат и различаю... звезду! Еще одну. Еще... Неужто наступила ночь? Так быстро? Или я здесь вишу весь день? Не может быть! Что стряслось со Стасиком? Заблудился? Нет, сейчас не ночь, и времени прошло не-

много, иначе Юнька давно уж разыскал бы меня. Он-то не бросит друга в беде. Все равно ко мне кто-то придет, а Юнька — непременно!

Сердце стучит сильно и ровно. Я уже не испытываю ни растерянности, ни испуга, ни отчаяния.

А звезды отнюдь не мерещатся — вон они, сверкают. Как стекляшки люстры. Зубы отстукивают чечетку. Я не свожу глаз с квадрата неба. Ночь ли, день ли,— все равно надо держаться. Силы еще есть! Кап-кап... Буль... Держаться... держаться... держаться...

— Эй, парень! Живой?

Пронзительно сильный мужской голос ударил сверху. Запрокидываю голову: квадрат заслоняют три головы.

— Живой...

— Веревку имай! В петлю ногу поставишь, понял?

Вихляя из стороны в сторону, ко мне приближается веревка с петлей на конце. Я ловлю ее. Веревку продолжают травить, она провисает, и я, потеряв равновесие, срываюсь, успев крикнуть:

— Тяни!

И с головой ухожу под воду. Опять спирает дыхание. Выныриваю. Хватаюсь за веревку. Опять погружаюсь с головой, но веревку не отпускаю, и вот она напряглась — есть опора. Вырываюсь, сразу отяжелев, из воды, охватываю веревку коленями, но ее как будто и нет. Поплыл вверх!

— Держись крепче! — звуки голоса отскакивают от стен, продавливают ушные перепонки до боли.

Раскручиваясь на веревке, чуть не врезался головой в еще одну скобу, успев оттолкнуться плечом.

Слышу скрип ворота, голоса. Меня подхватывает за локти молодой мужчина в расстегнутой на груди светлой рубахе. Все! Я спасен! Ур-ра!

Юнька обнимает меня. Стасик сквозь слезы о чем-то спрашивает, а я неудержимо лязгаю и скрежещу зубами, хотя челюсти так стиснуты, что их, кажется, невозможно разжать.

Ослепительное ледяное солнце ничуть не греет — как зимой. Я не чувствую своих рук и ног. Топчусь на остром шлаке, как на вате. Что-то мычу, пытаясь объясниться. Стасик уже простодушно выпытывает:

— Клад увидел?

Начинает колоть кончики пальцев рук. Боль становится все сильнее. Я пытаюсь отбежать прочь от колодца, падаю, непонятно почему, поднимаюсь и снова бегу. Ноги не держат. Юнька подпирает меня, смеется. Он обрадован.

Добравшись до колышков бобыньковского участка, я плашмя валюсь на траву и растягиваюсь на животе. Меня всего мутит, как от угара. Вот и до ног добралось колотье, пронзило болью ступни. Скорчившись от нестерпимой боли, катаюсь по земле.

— Что с тобой, Гера?

Это Юнькин голос.

Постепенно боль ослабевает, отпускает. Открываю глаза. Рядом лежит Стасик, заглядывает мне в лицо.

— Потри вот тут,— прошу его.— Ох, тянет...

Стасик ретиво выполняет мою просьбу, растирает ладошками колени, икры, пыхтит.

— Дай-к я,— отстраняет его Юнька.

Валька мокрые волосы гладит — жалеет меня.

— А веревка — бац! — и оторвалась,— рассказывает Стасик.

А я говорю:

— Бидончик утонул. На дне лежит.

Юнька молчит. Тоже, видно, только вспомнил о нем. Стасик угощает Вальку:

— На, пей. Ох и холодняя...

— Иди, попроси дяденьку, чтобы бидон вытащил,— предлагаю я Юньке.— И спасибо ему скажи. За меня.

— Давай я тебя согрею. Я — горячий,— говорит Стасик и прижимается к моей содрогающейся спине.

Наконец солнце пробрало-таки меня. Но я продолжаю подставлять его лучам то один бок, то другой,

хотя дрожь уже стихла во мне. Млею от разлившегося по телу тепла и время от времени на миг проваливаюсь в приятное забытье...

Пора. Надо вставать. Дело ждет.

Охо-хо, еще сколько окучивать-то! Отыскал тяпку и принялся за свои рядки. Ничего, наверстаю.

Вернулись Юнька с Валькой. Бобынек принес запотевший бидон. Полнехонький. Мне даже смотреть на него зябко — всего передергивает. Юнька рассказал, как его удалось выудить — проволочным крюком. Помолчав, добавил:

— Напрасно ты полез. Колодец-то — глубоченный. Утонуть мог. Из-за какой-то железки.

Я ему ничего не ответил, не знал, надо ли было так рисковать. Да и не думал я ни о каком риске, опускаясь в колодец. Надо — и полез.

— А-а — жалко битончик потерять,— протянула Валька.— Отец с тебя за него шкуру-то спустил бы.

— Ну уж, так и спустил,— возразил Юнька не очень уверенно.— Мож быть, и побил бы. Другой сделал бы. Зато ты цел остался бы.

— А как ты узнал, что я в колодец оборвался? — спросил я Юньку, когда мы, взмокнув от усердия, присели отдохнуть.

— Стасик прибег — сказал.

— Так ты не сразу побежал в барак? — строго спросил я брата.

— Не. Мы — вместе...

— Я ж тебе наказал...

— Ничего ты не говорил. Только шевелился,— уверил меня Стасик.

«Возможно, я хотел крикнуть, да не крикнул?» — подумалось мне. Ведь привиделись же мне звезды на небе.

— Юньк,— решил я поделиться невероятным наблюдением с другом.— Не поверишь: я давеча звезды видел. На небе. Из колодца.

Бобынек недоуменно взглянул мне в глаза и запрокинул голову.

— Честное-пречестное!

— А где ты их видел?

— Вообще... На небе.

— В колодце и не то могло побластиться. Стаська про какого-то поросенка мне чесал, тоже якобы в колодце.

— Поросенок тут ни при чем... Не веришь?

— Верю. Но не знаю.

— Чудеса,— сказал я.

И мы взялись за тяпки. Вторую половину дня я, нагнав Юньку, работал как ни в чем не бывало, от друга не отставал. Загорел под полевым солнцем до индейской красноты в тот день.

К вечеру Стасик с Валькой изнемогли, отлеживались до сумерек, прикрывшись травой, пока мы с Юнькой не доконали участок.

Домой притащились затемно. Даже не поужинав, я завалился на кровать, успев натянуть на себя одеяло, и тотчас провалился в дремучий сон.

Наутро лишь водянистые мозоли на ладонях, тупая боль в руках, ногах да пояснице напоминали об окучивании. Да волдыри на плечах и спине. Про себя я гордился участием в подмоге — большой «взрослой» работе. О колодце почти и не вспоминал, хотя ужаснувшейся маме пришлось обо всем рассказать подробно.

Правда, представив, как меня, мертвого, вытаскивают на веревке из колодца, увидев растерянное, испуганное и недоумевающее лицо братишки, услышав горестные рыдания мамы и причитания Герасимовны, я вдруг почувствовал такую жалость и к маме, и к Стасику, и даже к бабке, что подумал: «Как хорошо, что я — живой».

Я тут же разыскал Юньку и спросил:

— Ты хоть сказал тому дяденьке спасибо? Что вытащил меня...

— Забыл! Дырявая голова. Засуетился...

— Эх ты... Теперь опять надо идти. А если он ушел?

— А чего идти? Любой на его месте то же сделал бы.

— Правильно — любой. Но все равно ему спасибо надо было сказать — жив остался. Успели вы.

— Еще быстрее пришли бы, да ведь он без ноги. Пока протез пристегнул, пока дохромал. У него, видать, ногу-то в госпитале отрезали.

— Фронтовик, что ли?

— Факт.

«Хорошие люди фронтовики,— подумалось мне.— Везуха мне на них. На базаре тогда Николай Иванович заступился, сейчас — тоже инвалид. С войны. Не трамваем же ему ногу отрезало».

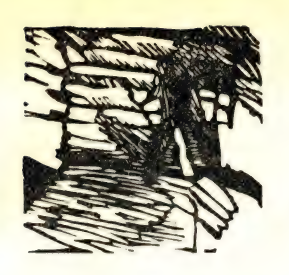
— А ты не знаешь, случаем, как его звать? — поинтересовался я у Бобынька.

— Не знаю. А зачем?

— Слышь, Юньк, не нужна ли ему наша помощь?

«В следующий раз спрошу»,— решил я, потому что друг на мой вопрос лишь неопределенно пожал плечами. Но «следующего раза» не состоялось...

Через неделю с жареной спины моей — уж в который раз за лето — слезла кожа, и на ее месте наросла новая, поначалу очень болезненная и чувствительная к теплу и прикосновениям. И происшествие забылось. Единственное, что надолго врезалось в память,— невероятные звезды в вырубленном квадрате полуденного неба, обманно мерцавшие в глубину колодца.



КАРТИНА НА ДОСКЕ

Алое поле, сколько помню, всегда манило нас таинственностью и неизведанностью. На заваленном десятками мраморных могильных плит и памятников пустыре мы часами разглядывали их, разбирали надписи, обсуждали, придумывали, какими внешне могли быть те, в чью честь вытесали то или иное красивое надгробие, а они все были красивы и загадочны, каждое по-своему.

Об Алом поле ходили невероятные, кошмарные слухи, от которых мороз по коже драл,— это-то нас, верно, и привлекало на запущенное, как нам казалось, забытое всеми кладбище.

И еще притягивала громадностью и недоступностью многокупольная церковь из темно-красного плотного кирпича. Собственно, куполов на храме не сохранилось, а на столпных площадках рос жухлый бурьян и низенькие деревца, которые придавали его виду сугубую древность.

С Юнькой Бобыньковым мы не раз и не два излазали вдоль и поперек всю территорию парка, исследовали подступы к крепости-храму и его массивные стены, но не нашли щели, через которую можно было бы проникнуть внутрь безмолвного помещения.

Лежа на прохладной плите с вырезанным крестом и датами жизненного пути важного покойника, я жевал сочный стебелек, слушал трескотню кузнечиков (их здесь в траве водилось миллионы, шагнешь — взлетают тучей)

и смотрел в небо, затянутое легкими, просвечивающими облаками — словно кто-то нечаянно мазнул гигантской кистью с жидкими белилами по голубому фону.

Я представил себя на планере, вблизи того марлевого облачка, на чудесном аппарате из фанеры, что недавно сделал вынужденную посадку на Алом поле, и удачно, даже никаких уличных проводов не задел. Что меня тогда удивило — из открытой кабины вылез планерист, снял очки-консервы, сдернул шлем и превратился в... молодую женщину. Через несколько часов планер, к сожалению, увезли на автомашине. Но я успел рассмотреть его досконально, даже внутрь пытался залезть, да планеристка не позволила.

...Рядом пыхтит Юнька. Чем же он занимается?

— Ты чего шебуршишь?

— Ящерка под гроб юркнула — и нет...

Мой друг озадачен. Он сдвинул в сторону небольшой гробик сизого мрамора, надпись на котором извещала, что под ним лежит невинный младенец, проживший на грешном свете месяц и четырнадцать дней.

— Хитрая. Даже хвост не оставила,— сетует Юнька,— выскользнула.

— А зачем тебе ее хвост?

— Так. У нее же другой вырастет...

— Вот у людей бы этак. Не ходило бы столько на костылях и без рук.

— Скажешь тоже.

— А чего? У ящериц же отрастают хвосты.

— То — у ящериц. Люди не ящерицы.

— Изобрести бы такое лекарство. Представляешь?

— Не-ка...

— Ну, выпил, к примеру, столовую ложку в день, и за неделю — вот она, нога, целехонькая.

— А если перепьешь?

— Тогда одна нога — тридцать седьмого размера, а новая сорок пятого.

Мы посмеялись над несуразицей, и я спросил друга вполне серьезно:

— Бобынек, а что, если нам с тобой накачать горячим воздухом воздушный шар и подняться на нем на самую верхотуру — через окошки можно все разглядеть, что там.

— Легче лесенку сплести. Из веревок. И по ней подняться. Но похоже, что там ничего нет — пусто.

— Зачем же тогда попы замки повесили? Нет, там что-то затырено.

Размышляя, что в пустой церкви может быть сокрыто, я насвистывал «Священную войну». Мне песня нравится своей торжественностью.

Юнька прерывает постукивания ногтями по верхним передним зубам, он здорово наторел в этой музыкальной игре «зубарики», особенно хорошо получается мелодия «Калинка-малинка».

— Мамка рассказывала, что в церкви живет добрая боженька, такая красивая, что глаз не отвести,— восхищенно произносит Юнька.— А когда кого-то злые люди обижают, боженька помогает ему.

— Когда она тебе так говорила?

— Незадолго до смерти. Мамка у нее помощи просила.

— Почему же ей не помогла добрая боженька?

— Не знаю. Отец все равно пировал.

Юнька глубоко вздохнул и умолк.

Плохо, очень трудно жилось Бобыньку с Валькой после самоубийства матери, хотя отец и образумился — прекратил пить водку, совсем.

— А мне мама рассказывала, что в церкви один обман.

— Какой обман? — недоверчиво спросил Юнька.

— Не знаю какой, но обман. Эх, поглядеть бы на него, что это такое.

И я снова принялся выискивать способ проникновения внутрь заброшенного храма.

Подкоп нам ничего не даст, фундамент наверняка уходит вглубь на несколько метров. Ломать замок или двери — нельзя, не разбойники же мы. Подобрать ключ

к литому, похожему на пятифунтовую гирю замку тоже не годится — так орудуют жулики.

От долгого вглядывания в небесную лазурь ощущаешь лишь себя растворенным в этом бесконечном просторе, да стрекотание кузнечиков с жужжанием мух. Необычное состояние собственной бестелесности — ты превратился в созерцание и слух. Но чуть напряг мышцы, двинулся — и снова возвратился в свое тело, чувствующее очень многое: собственную тяжесть, прикосновение к щиколотке правой ноги какого-то растения, букашку, ползущую по плечу, солнечное тепло и прохладу камня. Угол зрения расширяется, и уже различаются многие предметы, окружающие тебя: кусок кирпичной кладки и на ее темно-вишневом фоне контуры матово-сизых памятников, зелень трав...

Прозрачный шлейф облака мне вдруг представился гигантским хвостом воздушного змея, неподвижно парящего в вышине. Вот такого бы соорудить... Ну, не такого, разумеется, поменьше, но чтобы на нем можно было подняться высоко-высоко. А ведь это — идея... Запускание бумажных воздушных змеев и «монахов», свернутых шапочкой из газеты,— моя страсть.

На сарае, вернее, коровнике тети Глаши я прибил вертушку — флюгер. Как только она затрещит на ветру, бегу за заранее приготовленным к полету змеем с аккуратно уложенным мочальным хвостом. А иногда и друзей вынужден звать на помощь — в одиночку не запустить. Вдвоем, а то и втроем возможно поднять большого змея размером в газетный лист и с трехметровым хвостом: один бежит и тянет за нитку, другой, тоже бегом, «разгоняет» змея, держа его в руках, а после подбрасывает, третий транспортирует хвост, чтобы не зацепился за что-нибудь на земле. Не всегда запуск удается с первой попытки. Зато когда змей, уросливо вильнув в сторону, устремится вверх и ты успеешь, не ослабляя нити, «вытравить» такой ее конец, что змей запляшет на достаточной высоте, тогда исчезнут опасения, что он кувырк-

нется и упадет на дерево или с хрустом врежется в землю.

Все выше поднимается прямоугольный змей с двойным, соединенным в конце хвостом. Натянута и гудит от напряжения крепкая нить. Смотри в оба, чтобы напор ветра не оборвал ее. Вот уж и на катушке почти ничего не осталось, а ведь на ней намотано было двести метров! Это ж надо, на такую высоту взмыл твой змей! По этой нитке да туда бы, под парус из газетного листа, повиснуть бы, ухватившись за каркас из дранок, да посмотреть вниз: как наш город с такой фантастической высоты выглядит? Но не выдержат дранки... А что, если смастерить прочный каркас и подвесить к нему легкое веревочное сиденье, как на качелях? В небе-то такой воздушный аппарат тяжесть моего тела выдержит, как с земли подняться — вот вопрос.

Можно, например, так. Запускаем огромного коробчатого змея на крепчайшей тонкой бечевке. Еще одна бечева пропущена через ролик, укрепленный на нижней планке каркаса. На конце второй бечевы — грузик. Нет, груза не надо. За ее конец держится пилот. Разумеется — я. Второй конец разматывается по мере поднятия змея. На определенной высоте аппарат закрепляется, например, за столб. Первый конец бечевы, перекинутый через ролик, продевается в кольцо, пришитое к лямкам, а за второй конец Юнька и Гарешка тянут или, лучше, наматывают ее на ворот... И вот я подтянут под самый парус, на котором нарисована Стасиком красная звезда — во всю ширину плоскости. Усаживаюсь в веревочную петлю и озираюсь...

— Юньк! Я, кажись, придумал, как подняться на церковь!

— Фу ты! Нарыхал меня. Я же закимарил.

— Как? Ты можешь спать днем?

— А чо? — удивляется Бобынек.

— Я не могу. В детсаду меня за это все время наказывали. Ну, слушай...

И я с жаром, размахивая руками, сначала сидя, а после вскочив, расписываю, как можно подняться на воздушном змее высоко-высоко, где страшно холодно.

— А шубу-то с собой возьмешь? — улыбается Юнька.

— Какую шубу? У нас нет...

— И у меня нет. По этой причине полет в стратосферу на воздушном змее «Красная звезда» временно откладывается.

— Нет, я без шуток...

— И я тоже. Фантазер ты, Долгов. Давай лучше подумаем...

— А почему мой проект не подходит? Что тебе в нем не нравится?

— Все глянется. Но где мы такие бечевки найдем, чтобы тебя держали, да еще на такую высоту подняли?

— А что, нет таких?

— Нет, факт. Не изобрели еще. А толстая веревка не годится.

— Пожалуй...

— Да и нет ее у нас с тобой.

— Тоже верно,— согласился я.— И достать негде. Купить — не на что.

И подумал: вечно какие-нибудь мелочи мешают осуществить самые замечательные мысли.

Я повернулся набок и принялся разглядывать сухую землю и ее бегающих и ползающих мелких обитателей.

Вдалеке, возле ленинского мемориала, замелькало какое-то белое пятно. Оно то исчезало, то возникало вновь.

Мне, разморенному густым полуденным зноем, не хотелось даже двигаться, тем более встать под жгучее солнце из бурьянной, хотя и жиденькой, но тени. Однако я пересилил себя, поднялся и направился к мемориалу. За мной поплелся и Юнька.

Белый предмет оказался платком на голове старушки, сидевшей на земле. Поблизости, на веревке, привязанной к колышку, паслась пегая крутобокая коза, которая с

ходу пошла на нас, выставив вперед прямые и острые рога. Мы, не сговариваясь, отбежали на безопасное расстояние.

— Вам чего, хлопчики? — настороженно спросила старушка, поднимаясь на всякий случай с земли и сжимая в кулаке хворостину.

У старушки умные, спокойные и чуть насмешливые глаза.

— Вы чьи будете?

— Мы со Свободы,— с достоинством сказал я.

— Ишь откуль вас занесло, с Ключевской, по-старому-то. Чего вам здесь надо-ть?

— Да вот, бабушка,— начал Юнька.— Про кладбище спросить хочем, да не у кого.

— Какое еще кладбище?

— Про это вот.

— Не было здеся никакого кладбища.

— Как — не было? — не поверил я.

— А эдак. Все энти камушки свезли с Михайловского кладбища.

— Какого еще Михайловского? — спросил Юнька.

— Где чичас кино. Могилки-то порушили, а камушки сюды свезли.

— А как кино называется? — продолжал Юнька расспрос.

— Того не ведаю, я в ём сроду не бывала. На его месте раньше церковь стояла архангела Михаила. В ей мово родителя отпевали, в тую германскую помер, царство ему небесное, спаси и сохрани его душу.

— Я знаю, что это за киношка,— Пушкина,— догадался я.

Мне вспомнилось, как однажды, давненько уже, какой-то пьяный, нестарый еще, неистовствовал в фойе кинотеатра, грозился взорвать его динамитом, потому что на этом месте похоронена его мать. Его выкрики я воспринял как бред. А оно вон что. Дебош для пьяного закончился тем, что его уволокли милиционеры, а я

пошел в семнадцатый раз смотреть мировую кинокомедию «Цирк».

Словоохотливая старушка перекрестилась, поглядывая на обезглавленную церковь.

Юнька подмигнул мне многозначительно.

— А это что за церква? — спросил он.

— Равноапостольского князя Александра Невского.

Мы с Юнькой переглянулись.

— Он строил, что ли? — удивился Юнька.— Сам?

— Пошто — он? Купец наш, челябинский, строил — Хрипатьев. Во искупление своих грехов тяжких. Погубил он девушку одну, служанку свою Шуру Коркину, обесчестил. А после совесть-то в ем заговорила. Вот и воздвиг храм.

— Такую большую церковь один построил? — изумился Юнька.— Во, стахановец!

— Пошто — один? Цельная артель, сказывают, три года робила, да леворуция тут приключилась. Знать-то, и не освятили храм-от, не успели.

— А в ней есть что-нибудь? — допытывался Юнька.— Что-нибудь хорошее?

— А кто его знает. Ломали ее, да не одолели, вишь. Не допустил господь.

Старушка, успокоенная, уселась на прежнее место, отмахиваясь веточкой от мух.

— А вы крещеные ли? Аль нехристи?

— Я безбожник,— похвастался я.

— А я верю,— неожиданно заявил Юнька и неловко как-то, сикось-накось, перекрестился.— Вот...

— Ты чего? — одернул я друга.— Ведь ты пионер!

— Ну и что? Боженьку-то все равно хочется увидать. А неверующим она себя не кажет.

— Не кажет,— передразнил я Юньку.— Забыл, што ли, как того боговерующего из пионеров вытурили?

Мы, конечно же, хорошо помнили то утро, когда на общешкольной линейке, которой властно дирижировала завуч школы Кукарекина, пионервожатая, «русалка» из

пятых классов, очень решительная молодая женщина, вывела из шеренги за руку маленького стриженого белобрысого и курносого пацана и обратила его к нам лицом. Тот смиренно застыл.

Крысовна-Кукарекина по бумажке громко зачитала нам, что потупившийся недоросток предал юных пионеров всей страны и не достоин носить это высокое звание — он верит в бога и молится. А посему с него снимается красный галстук — частичка пролетарского знамени, щедро политого кровью наших отцов и дедов, свергших власть помещиков, капиталистов и попов.

Крысовна визгливо, войдя в раж, выкрикивала еще какие-то заученные раз и навсегда словеса и лозунги, но когда дело дошло до исполнения приговора, произошла заминка — галстука на отступнике не оказалось. Энергичная и находчивая пионервожатая рванула с себя шелковую косынку и торопливо повязала ее «предателю юных ленинцев». Крысовна махнула рукой, и с новой силой затрещали умолкнувшие было барабаны, и под их бой действие продолжилось. Виновник же этого представления никак не реагировал на то, что с ним делали, стоял, как манекен, держа в руках перед собой холщовый мешок с ученическими принадлежностями.

Вожатая повернулась к «манекену» и сдернула с его шеи свой галстук-косынку, брезгливо, с хлопком, отряхнула его, а разжалованного просто в пятиклашку подтолкнула вдоль по коридору.

Явно неудовлетворенная наказанием завуч объявила, что экс-пионер будет вовсе исключен из школы как «носитель религиозной заразы».

Уличенный в вере в бога, его тут же нарекли «попом», сразу стал объектом бесконечных насмешек всех, кто пожелал над ним поизгиляться, а желающих нашлось немало. Особенно изощрялся Колька Муравьедов. Он дурашливо крестился щепотью и кланялся «попу», приговаривая:

— Господи-исуси! Хвать его за уси!

Кое-кто из старшеклассников щелкал пальцами «попа» в лоб, подшучивая:

— Бог терпел и тебе велел...

И я, грешник, тоже глумился над однокашником, подпевая хору:

— Поп, поп — толоконный лоб...

Вероятно, еще дня два-три видели в школе «попа», безгласно терпевшего наши издевки и измывательства, а после он исчез, и вскоре о нем все забыли. А сейчас я не мог не вспомнить о «позорном явлении нашей школы» и пожалел — очень даже запоздало — пацана, потому, наверное, что подобное может произойти и с Юнькой. А он этого понять не хочет. Надо срочно разубедить друга, доказать, что никакого бога не существует.

— Нет в церкви никакой боженьки,— высказал я то, о чем думал, не тая.

— А вот и есть! — вскипел Юнька.

— Ох и дурачок ты — веришь в бабушкины сказки.

Юнька отвернулся.

— Хошь, докажу, что никакой боженьки там нет?

— Как?

— Залезу внутрь.

— А не ботаешь?

— Пошли!

Юнька нехотя поднялся с могильной плиты.

— А ежли она тебя покарает?

Я рассмеялся. Хотя Юнькина боязливая нерешительность и вера в бога меня не поколебали, все же легкое сомнение возникло: а вдруг что-то или кто-то там и в самом деле есть? Ну и пусть! Была не была!

Мы вернулись к храму.

— Надо штурмовать,— сказал я решительно.

— Слабо!

Ухватившись за кованый кронштейн, когда-то поддерживавший водосточную трубу, я полез вверх по углу, образованному пилоном и плоскостью стены. Со стороны

это было похоже, наверное, на цирк. Цепляясь за малейшие выступы и кромки кирпичей, я упирался пальцами босых ног и коленями в шероховатые стены и упрямо поднимался ввысь.

— Ну, как? — кричал откуда-то из-за спины Юнька, но я знал, что нельзя оглядываться — сорвусь.

Каждой клеткой своего существа я почувствовал самый опасный момент, когда предстояло левой рукой ухватиться за проржавевшую кровлю и подтянуться на узкий надоконный козырек. Железо, к счастью, выдержало. Я встал на него во весь рост, нащупал подкупольную площадку, смахнул с нее землю и какие-то галечки, подпрыгнул, отжался на ладонях, оцарапав до боли живот о неровности окаменевшего раствора, приподнялся на колени, сел и глянул вниз. Ух ты! Ну и высотища! Аж в животе защекотало. Что со мной сталось, если б не удержался? И моментально в воображении я увидел свою маленькую фигурку, распластанную в воздухе, и ее же — лежавшую размозженной рядом с чьим-то вычурным, из мрамора памятником, высеченным в виде высокого пня с отрубленными сучьями. У меня внутри все сжалось от ужаса, и, чтобы стряхнуть страх, я заставил себя думать о другом и принялся насвистывать бодрую песню «Гибель «Варяга».

Я вглядывался в самые дальние дали. Вот это вид! Взлететь хочется — самому, без чьей-либо помощи, и, раскинув руки, ласточкой пронестись над городом.

Рубашонку мою прилепил к груди верховой ветер, гудевший в ушах. А под стеной, отступив на несколько шагов, приложив ко лбу ладони козырьком, безмолвно уставился на меня игрушечный Юнька, в штанах, закатанных выше колен и выцветшей досера, когда-то темной рубахе.

— Эй, залазь сюда! — кричу я.

Юнька отрицательно вертит головой.

Воробьи беспокойно носятся вокруг меня, тревожно щебечут, прыгают вблизи, дерзко поглядывая на незваного гостя. Где-то здесь затаены их гнезда, и разы-

скать их — пара пустяков. Мне, грешному, знаком вкус воробьиных яиц, но сейчас не до них.

Мною овладевает необыкновенное ощущение: я как бы улетучиваюсь из своей оболочки и перемещаюсь в находящиеся вокруг предметы. Я — в этих нагретых солнцем кирпичах, в трепещущих мелкими листьями карликовых кленах, растущих здесь, в отрыве от земли, над землей, я — в поющей ветром вышине, и одновременно — вот он я, с коротко остриженными ногтями, со смуглой от вольного загара кожей на руках, ногах. В ветре над этой крышей, вон в той дали в солнечном свете вокруг... Я уверен, что вот так буду существовать вечно, что я и сейчас в вечности — во всем этом и во всем другом — навсегда.

Опьянение прошло. Налюбовавшись досыта широчайшей, вкруговую, панорамой, я осторожно с площадки подбираюсь к главному барабану. Широкие и высокие окна, которыми просечен барабан, с земли кажутся узкими вертикальными щелями-бойницами. Здесь все видится многократно крупнее, а то, что осталось там, внизу, измельчало. Нахожу взглядом старушку в белом платке, а вот козы не видно, наверное, устроилась в тени и жует себе травку, самоуверенно поглядывая по сторонам: не даст в обиду свою хозяйку — забодает.

Внимательно всматриваюсь в оконный проем. На стенах проступают раскрашенные фигуры со сложенными на груди или вытянутыми вперед руками. Вокруг голов удивительных фигур, облаченных в балахоны, круглые желтые блины. Чудно!

И тут я призадумался: а как спускаться? Хорошо бы найти длинную и крепкую веревку, но — увы — никто ее для меня не припас. Правда, приуныть мне не давал верный и терпеливый Юнька, сидевший на памятнике, изображающем большую — с бочку — саранку [1]. С таким другом не пропадешь. Бобынек в беде не оставит.

---

[1] Луковица лесной лилии.



Присев на корточки, я скатился на пятках по раскаленному железу и заглянул в одно из окон. Ура! В узкое пространство вверху между решеткой и оконной аркой я протиснулся без урона — лишь поцарапал об острый наконечник копья грудь. Послюнявив царапину, я с широченного подоконника спикировал на дощатый помост, ограниченный со стороны храмового помещения заборчиком из точеных балясин, накрытых перилами. Вниз вела деревянная лестница с частично выломанными ступенями. Однако подобные изъяны не могли стать для меня помехой.

Но самое интересное: на этом как бы балконе к стене были прислонены в наклон массивные, с меня высотой, доски, а к ним — поменьше. Один из больших щитов, скрепленных горизонтальными деревянными же клиньями, я с трудом оттянул на себя. Вся плоскость щита была затянута в металлический с выпуклым изображением панцирь.

Выпуклостями на металлическом листе была изображена фигура воина в латах, с копьем в поднятой руке и с каким-то круглым предметом в другой. За спиной воина широко раскинулись огромные крылья. Крылатый воин! На месте лица и рук железо было выстрижено, и сквозь грязь и паутину угадывался цвет. Я послюнявил палец и потер гладкую плоскость — проглянул человеческий глаз. Он смотрел в меня в упор и так пытливо, что я внутренне содрогнулся — взгляд казался живым.

Я слез вниз. Каждый мой шаг гулким эхом отдавался под сводами. Часть взломанного пола, видимо, давно унесли. На всем подушками лежала пыль, и валялись какой-то тлен, мусор, да битое стекло хрустело под ногами. «Не порезаться бы»,— подумалось мне.

Я разыскал высоченную железную дверь и постучал в нее обломком кирпича, гукнул:

— Юнька! Бобынек! Подь сюда...

— Где ты? — услышал я встревоженный голос друга.

— Здесь. Как отсюда выбраться?

— А что, страшно?

— Не.

— Боженьку видел?

— На стенах нарисованы. Целая толпа. А один — богатырь с копьем. Наверное, и есть Невский. Бьет псов-рыцарей. А они — голые, во смехотура...

— Ну, а боженька, о которой мамка говорила, есть? Такая, что глаз не отведешь?

— Такой нету.

Юнька замолчал.

— Вишь меня? — услышал я голос из-под двери.

Я нагнулся и близко увидел блестящие глаза Юньки в щели между дверью и порогом.

— Держи пять,— он подсунул под кованое, танковой брони дверное полотнище ладошку.— Не бойсь, кореш. Поищи что-нибудь железное, потяжелей.

И я наткнулся-таки на тяжеленный лом-гвоздодер. Но двери не поддавались. Безнадежно долбить в них, и гранатой не взорвешь. «Сюда я попал через окно. А вылезть?» — посетила меня простая мысль.

Покожилившись, поднял и прислонил вывернутую плаху к стене под окном, вскарабкался на нее, ухватился за граненый прут решетки и ступил на подоконник. Выдохнув весь воздух, перевалил через завитушки и острые наконечники копий решетки, и вот я уже по ту сторону метровой толщины стен.

— Юньк! Там еще картины есть, на досках наклеенные, что ли. На полатях стоят.

— А что на них нарисовано?

— Боги какие-то. А один точно Невский. Только с крыльями. Взять, может, которые поменьше.

— Тарань сюда! Они же ничьи, от попов остались.

Как мне не хотелось возвращаться в пустынное огромное помещение, но пришлось.

Поднявшись на балкон, я выбрал из доброй сотни разнокалиберных досок, многие из которых осыпались и зия-

ли белоснежными заплатами, две целые, поменьше размером, потом прихватил еще одну, для старушки в белом платочке. По одной втащил на подоконник, переправил через решетку, сам перелез.

Доски ловко подхватил Юнька.

— Сигай на траву,— предложил мне сообразительный друг, успевший натаскать под окно большую кучу бурьяна.

Я повис на вытянутых руках и прыгнул. Удачно. Лишь малость зашиб колено, но это — ерунда, не в счет.

Травой мы тут же очистили от грязи лицевую сторону разрисованных досок.

На одной на голубом фоне в малинового цвета одеянии молодая и красивая боженька держала на руках мальчишку в длинной белой рубахе, кудрявенького и румяного, на другой — черноглазый черноволосый мужчина с сурово сдвинутыми бровями и поднятым пальцем, с таким же блином, только золоченым, вокруг головы, что и на стенных росписях, взирал на нас строго и пронзительно. И даже гневно. А на третьей был изображен круглолицый и румянощекий молодой парень с драгоценной коробочкой в руке.

Находку поделили по справедливости — семейный портрет я оставил себе, «цыгана» согласился взять друг, хотя ему приглянулась боженька с мальчонкой, а парня с коробочкой мы решили отдать старушке.

Она обрадовалась подарку, заулыбалась беззубо, отерла доску чистым платком, поцеловала и объявила нам, что это икона и она будет молиться, чтобы боженька дал здоровья. Этого я не мог уразуметь: каким волшебством нарисованный человек может наделить бабушку здоровьем, откуда он его возьмет и что это такое — здоровье? В чем оно находится — в коробочке, что ли? В общем, ахинея какая-то.

— А как звать его, этого парня? — спросил я.

— Святой Пантелеймон, целитель, дай тебе бог чего хочется. Господь отблагодарит вас за доброе дело,— уверила нас старушка.



— Значит, Гера доброе дело сделал, что пробрался в церковь и приволок оттуда эти картины? — уточнил Юнька.— Его за это боженька не покарает?

— Бог ему судья,— запричитала уклончиво старушка.— Бог его рассудит...

Вот и попробуй пойми ее, что к чему: то ли отблагодарит, то ли судить будет.

Из предосторожности, на всякий случай, я оставил икону в дровянике, предварительно отмыв ее от грязи. Икона оказалась невероятной красоты. От одежд фигур, написанных яркими, сочными красками, исходило почти неуловимое сияние, усиливающееся до золотой густоты вокруг голов. Разве может так быть, чтобы человек светился? — недоумевал я. Нежный румянец белых перламутровых лиц, словно подсвеченных изнутри, вызывал благоговейное недоверие — таких людей вживе не бывает. Да и разве возможно так прекрасно нарисовать обычными красками на обычной доске?! Такие мысли роились в моей голове, когда я принялся внимательно рассматривать икону.

Разобрал кое-как и надпись: «Казанскиа пр. бцы». Что за «пр. бцы»? Об этом я спрошу у Герасимовны, она наверняка знает. Старушка-то назвала ее Богородицей.

И я продолжал разглядывать волшебную живопись — с восхищением, какого еще никогда не испытывал ни от одной из виденных мною картин. В портрете сквозили очарование и необыкновенная, невиданная мною дотоле и несравнимая ни с чем и ни с кем красота, изумляла, завораживала чистота и яркость красок.

Легкий разлет тонких бровей Богородицы, розоватые ноздри, киноварные уголки широко распахнутых глаз, карих, живых, с бликом света изнутри, смотрящих с затаенным страданием, доверчиво и доброжелательно,— вот, оказывается, какие очи боженьки. В самом деле, от них трудно оторваться, они притягивают чем-то, чего не объяснишь, что можно лишь почувствовать. В маленьких,

будто плотно сжатых, губах затаилась не то вспугнутая улыбка, не то подавленная гримаса, вызванная болью — душевной болью.

Лицо же младенца выражало недетское мудрое спокойствие, вызывал недоумение и высокий старческий лоб с морщинами и залысинами.

Что-то трогательное было в склоненной к младенцу фигуре Богородицы, даже грустное, зато никакой печали и беспокойства не было в прямом взгляде мудрого младенца, смотрел он словно бы задумчиво, размышляя о чем-то своем, очень важном. И обе эти фигуры, несмотря на яркие, плотные краски, какими были написаны, выглядели легкими, воздушными, просвечивающими. Такой я вижу ту икону и сейчас.

Вглядываясь в лицо Богородицы, я порою был уверен, что она грустна и весела одновременно, хотя по собственному опыту знал, что так в жизни не бывает. Удивляло меня безмерно и то, что выражение ее лица постоянно менялось, с малейшим моим перемещением в пространстве. И от моего настроения, вероятно, тоже.

Я мог бы поклясться, что такого чуда, исполненного красками, я еще не видывал!

Иллюстрации в книгах, иногда цветные, фотографии, открытки, переводные картинки, плакаты — и близко не сравнимо! Даже большущее полотно в затейливой багетной раме, аляповатая копия «Охотников на привале», висевшее в вестибюле бани по улице Красноармейской, дотоле оно мне представлялось пределом красоты и я его мог разглядывать часами, даже два запомнившихся мне портрета: «Мальчик с виноградом» и «Женщина в черном», висевшие в фойе городского драматического театра, где я смотрел «мировую» пьесу «Партизанка Юля»,— даже эти прекрасные произведения живописи не могли соперничать с моей находкой.

Не знаю почему, я оставил икону в дровянике,— что-то удержало меня от показа ее маме.

Хотя бабка Герасимовна была подслеповатой, а оч-

ков по бедности не имела, узрела-таки меня с иконой, когда я ее отмывал от въевшейся грязи тряпочкой возле сарая.

Она шустро подковыляла ко мне, закрестилась, зашептала, поклонилась иконе.

— Милай шин, прошветил тебя гошподь,— довольно зашуршала бабка и погладила меня по плечу ладонью с шишковатыми пальцами, покрытыми бурой морщинистой кожей.— Швяты-те молитвы жнашь?

— Нет, не знаю. Я неверующий, безбожник.

— Шам не жнашь, што буровишь. Я тебя наушу, мил шинок, наушу. Шлушай: «Отше наш, еже еши на небеши»...

— Что такое — «отше»!

— Отше наш — гошподь бог и ешть.

— А «еже еши на небеши»?

— Бог-от на небешах шидит.

— А что он там делает?

— Шмотрит. Он вше видит.

— А во что он оттуда смотрит — в подзорную трубу или бинокль?

Бабка непонимающе уставилась на меня.

— Богохульштвуешь, Егорка, лешов шин. Пошто на бога таки пашкудны шлова говоришь?

Как ей было объяснить, что именно таким я представил бога: чернявым, цыганистым, с морским биноклем в руках, восседающим на ватных подушках облаков.

Герасимовна заметно смутилась, расстроилась и припугнула меня:

— Накажет тебя бог, Егорка, ох накажет...

— За что, бабушка?

— Штраха божьего в тебе нету.

— Нету. Я бога не боюсь — он не настоящий. Я никого не боюсь. Даже мертвецов, которые в саванах по ночам из могил вылезают и по кладбищам гуляют, не то что какого-то бога. И в школе нам говорили, что никакого бога нет и не было. Это все поповские сказки.

Попы бога и чертей придумали, чтобы народ обдуривать и грабить, во!

— Жгинь, нешиштая шила! — закричала бабка и стукнула несколько раз подряд палкой о землю.— У-у, варнак, напашти на тебя нету, леший!

Бабка плюнула себе под ноги и засеменила от меня прочь, сгорбленная и какая-то беззащитная. Мне стало жаль ее. И я крикнул вдогонку:

— Бабушка! Не обижайся на меня! Не надо! Я пошутил!

Но она, осерчав, даже не обернулась. А как помириться с ней, я не знал. Да и что вообще произошло? Сначала ничего плохого она мне не желала. Однако и согласиться с брехней о чернобородом цыганистом боге, который якобы на небе сидит, я никак не мог — не маленький, чтобы всяким небылицам верить, и к тому же пионер, тимуровец.

Вскоре бабка остыла. Но при первой же встрече строго спросила, где икона. Я ответил.

— Идем, Егорка, покажь Прешиштую Деву.

Я привел бабку к сараю, отодвинул проволочным ключом засов-деревяшку, отворил щелястую дверь.

Бабка быстро вошла в дровяник, отыскала глазами икону и принялась креститься и кланяться ей, пришептывая:

— Упокой, Гошподи, душу раба твоего Ивана, невинно убиенного...

— О ком вы это, бабушка?

— Не мешай... О шине.

А помолившись, утерла мокрые глаза и сказала:

— Шашливай ты, Егорка. Отеш-то твой, давеша мать шкаживала, шулитша шкоро ш хронту вожвернутша. А мой Ванюшка шгибнул. Никогда тепериша не увидать мне его. И робятки его малые широтами ошталишь.

Мелкие бусинки-слезинки скатывались по глубоким ложбинкам ее морщин на крутой выступ дряблого подбородка.

— Ии-их, лихо-то како, милай шин Егорка. Марине-то каково ш двумя ребятенками...

Я редко видел мать Витальки и Тольки тетю Марину — на работе, в госпитале, она дневала и ночевала, и я никогда не задумывался, как всем им живется, а теперь понял — горе у них, большое и каждодневное, повсечасное. И еще я подумал: а каково мне было бы, погибни отец на фронте,— представить невозможно.

После этого разговора я старался не обидеть бабку и уже не дразнил, гримасничая, когда она шумела на нас за обычные проказы.

В дровянике же она мне тогда выговорила:

— Нешто дело — швяту икону в шарае неволить? Ты ее в дом, в крашный угол поштавь...

— У нас все углы белые.

— Глупой, идем покажу.

Она ткнула бугристым пальцем в правый от окна угол.

— Вот туды.

«А почему бы и не поместить сюда такую красоту»,— подумал я.

— Штавь, Егорушка, не шумлевайшя, я матери твоей глажа-те рашкрою.

И я приладил икону в угол и замер в восхищении и восторге от лучезарной ее красоты — словно оконце отворил в волшебный голубой и золотистый мир, ничуть не заслоненный двумя прильнувшими друг к другу как бы прозрачными, светоносными фигурами матери и ее любимого сына, с которым она страшится расстаться навсегда, хотя и знает, что оно, расставание, предрешено.

Я любовался иконой, и во мне нарастало удивление, как тогда, на водной станции, когда я приплыл к берегу с белой лилией в зубах. Я смотрел на цветок и изумлялся: природа создала такую немыслимую красоту, придав лепесткам чистейшую, радующую глаз и рождающую восторг бархатную белизну... Как это ей удалось?

— Посмотри, какую картину я нашел!— обрадовал я маму, вернувшуюся с работы.— На деревянной досочке нарисована...

— Это что еще такое? — грозно спросила мама.— Икона в нашем доме? Да ты с ума сошел! Сними сейчас же! Кто это тебя надоумил? Бабушка Прасковья, полагаю?

— Да ты взгляни, какая она красивая,— пытался я отстоять свое сокровище.

— Это — мракобесие,— сурово произнесла мама.— И я не позволю, чтобы ты развел тут поповскую чертовщину. Сию минуту убери ее с глаз долой!

Она удалилась, кипящая непонятным мне гневом, а я, разочарованный, снял икону и отодрал полочку. А тут и мама вернулась. С топором.

— Сейчас же изруби!

Я онемел.

— Ну?

— Не буду.

Обычно я никогда маме не возражал.

— Выполняй немедленно!— приказала мама.

Такой решительной и жесткой я еще никогда ее не видел. И смотрела она мне в глаза непреклонно-испытующе. Я молчал и к топору не притрагивался.

— Ты меня еще не знаешь. Я тебя все равно заставлю это сделать,— сказала она, и в ее взгляде я увидел враждебность и даже ненависть.

— Ну, долго я тебя еще буду ждать?

Я продолжал упрямо отмалчиваться.

— Накажу тебя, сын. Очень больно накажу.

Я не двинулся.

Тогда она взяла меня за плечи, тряхнула и отчетливо произнесла:

— Я не позволю втянуть тебя в эту заразу-религию, ни-ко-му!

— Меня никто и не втягивает.

Она молча вложила топор в мою ладонь и яростно прошептала:

— Руби чертову мазню!

Я ударил по краю и отколол голубую щепку с коричневой каемочкой.

— Еще!

— Не буду!

Я швырнул топор на пол.

— Ну, хорошо,— тихо сказала она, подняла топор и с коротким треском расколола доску надвое.

— Не надо!— крикнул я.

Не произнеся ни слова, она собрала осколки, прихватила топор и вышла из комнаты. Послышались легкие удары — мама щепила доску на кухне, на железном листе, прибитом перед топкой общей плиты. И каждый удар отдавался во мне тупой болью.

Вернувшись, еле сдерживая гнев, приказала:

— И чтобы больше такого безобразия не повторилось. Понял? Ни-ко-гда...

Я кивнул, хотя, признаться, не совсем уразумел, вернее, вовсе не понял, почему мне запрещается любоваться красивыми картинами, почему — «безобразие»?

Выйдя в коридор, я увидел на плите наш никелированный, когда-то электрический чайник, под ним просверкивал огонь. Это пылала моя икона.

Тягостная безысходность охватила меня, как после безвозвратной потери чего-то очень дорогого, близкого мне, от сознания своего бессилия изменить что-либо...



БРОНЯ

С соседом Броней меня связывала давнишняя, лет с восьми, дружба. Во мне он нашел единственного, но постоянного и верного слушателя его репетиций. «Артист» Броня читал мне стихи Пушкина и шекспировские монологи, я внимал ему с трепетом, хотя далеко не все из услышанного понимал. То и дело «артист» задавал мне один и тот же вопрос:

— Ну как? Впечатляет?— И подмигивал.

Никто из знакомых взрослых не относился ко мне столь доброжелательно и заинтересованно, да к тому же еще как к равному, только Броня.

Надо сказать, что меня особенно обижало, когда старшие не хотели или не желали замечать очевидное: я уже давно не малыш, а почти школьник. Броня едва ли не единственный признал во мне того, за кого я себя считал.

Поэтому я, в надежде на встречу с другом, частенько торчал под окном комнаты Богатыревичей, которое все теплое время года служило им и дверью — чтобы не беспокоить жильцов проходной комнаты.

Наверное, Броня назвал меня Чапаенком. И еще одно прозвище он дал мне: Почтарь. Летними вечерами Броня и взрослые девчонки-сестры из приземистого барака, стоявшего на задворках, за сараем, играли, по моему разумению, в «почту», обмениваясь записками. Мне вы-

пало почетное поручение — носить их туда-сюда. И я неустанно перемахивал через высокий забор из металлической сетки, разделявший наши дворы, передавал сестрицам послания Брони, а их ответы, сопровождаемые улыбками, лукавому моему другу.

Вечерами Броня собирался на свидание с одной из сестер в горсаду имени Пушкина. Он наглаживал чугунным утюжищем, наполненным алыми углями, белые брюки, бело-голубую тенниску со шнуровкой на груди и густо намазывал жижицей из зубного порошка безупречные парусиновые «баретки». До чего же красивым и торжественно-веселым выглядел наш Броня Богатыревич! Я завидовал ему и страстно желал волшебства: стать таким же взрослым и неотразимым, и как можно быстрей, лучше — сейчас же, немедленно!

Не всегда Броня репетировал один, к нему приходил его одноклассник и тоже «артист» — Саша. Крохотная комнатушка Богатыревичей не могла вместить столько публики, и «артисты» перебирались в общий коридор, а летом — на полянку под своим окном.

Коренастый, некрасивый, заика, но гибкий и подвижный, Саша показал свой талант во время репетиции боя Александра Невского с Псом-Рыцарем — на полянке. Броня, стройный и высокий, красовался в вороненой кольчуге, которую ему ночами изготовила из канцелярских скрепок тетя Лида, его мать. Княжеский шлем, сделанный из непонятного мне папье-маше тоже тетей Лидой и обклеенный серебряной (по моим прикидкам — от шоколадок) фольгой, блистал ослепительно. Широченный и длинный — от земли до пояса, и тоже из папье-маше,— меч легкий, почти невесомый, мнился мне волшебным в руке Брони — князя Александра. Плащ Пса-Рыцаря, скроенный из старых простыней, с наклеенным на середину крестом из черной фотобумаги, зловеще развевался за плечами «врага». Отвращение вызывал и рогатый шлем — ведерко с прорезью для глаз. Он был ловок и силен, этот Пес-Рыцарь, и иногда обегал и норо-

вил воткнуть свой бесчестный меч в спину князя, но отважный Броня-Александр отбивал все коварные наскоки. И в конце концов мощным движением опускал оружие на плечо захватчика, и Пес-Рыцарь красиво и долго падал, сраженный «смертельным» ударом. И, поставив ногу в самодельном дерматиновом чулке-сапоге на грудь поверженного тевтона, Александр провозглашал знаменитую фразу:

— Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет...

Короче говоря, на костюмированном маскараде в горсаду, куда меня родители не пустили, хотя и слез я немало пролил, Броню с Сашей признали лучшими, и они принесли домой главный приз, которому я радовался не меньше, чем «артисты» и тетя Лида,— стеклянную вазу.

Но вместо театрального института Броня Богатыревич к вечеру 22 июня написал заявление, а на следующий день отнес его в военкомат и осенью добровольно ушел на фронт.

Перед уходом в действующую армию он пригласил меня и вообще всех дворовых пацанов и девчонок на бесплатный концерт с его участием. В ДККА, так сокращенно называли Дом культуры Красной Армии, актеры драмкружка поставили две или три сцены из «Ромео и Джульетты» Шекспира.

В зале собрались немногочисленные и молчаливые зрители. Это наверняка были знакомые и родственники «артистов».

Люстра погасла, и наступил сладкий миг ожидания начала чего-то необыкновенного. Из занавеса необъяснимым образом появилась молодая, ярко накрашенная, подсвеченная снизу артистка и громким, срывающимся голосом объявила, что драмкружковцы перед отправкой на фронт решили попрощаться, сыграв сцены из великой трагедии о любви, которая сильнее самой смерти.

Книги и фильмы про любовь я считал абсолютно неинтересными, но из уважения к Броне остался в зале.

Броню я узнал сразу, как, впрочем, и Сашу, несмотря на густой грим, парики и диковинные одежды, в которые их нарядили. Я понял, что не напрасно остался, когда началась захватывающая сцена дуэли Тибальда с Меркуцио и Ромео. Саша-Меркуцио заикался не столь заметно, произнося слова нараспев и подтверждая их выразительными жестами. В меня занозой воткнулась реплика смертельно раненного друга Ромео, не тяжела ли его рана.

— О нет,— воскликнул Саша-Меркуцио,— она не глубже колодца и не шире церковных дверей...

Восхитительно! Вот это герой! Спектакль мне понравился, особенно — сражение на звонких шпагах, и я покидал свое место возбужденный и жаждущий отважных действий. И, возможно, поэтому мне странной показалась фигурка одной из сестричек-соседок из барака, продолжавшей уныло сидеть в третьем или четвертом ряду. И это тоже удивило меня — ведь убили они друг друга понарошку! Она не понимает, что ли? Но тут девушка резко встала и быстро направилась к выходу.

Потом были долгие аплодисменты, и исполнители, «убитые» в том числе, вышли на сцену, и кланялись, и улыбались, счастливые.

Ни Брони, ни Саши, ни заплаканной девушки я никогда больше не видел. В начале 1942 года тете Лиде прислали извещение, о том, что ее сын, красноармеец Бронислав Богатыревич, геройски погиб при освобождении Ясной Поляны и похоронен там же.

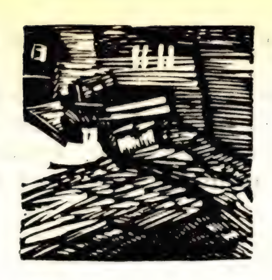
Не спасла Броню саперная маленькая лопаточка, оставшаяся от отца, унтер-офицера царской армии, а после — красного командира, прошедшего германскую и гражданскую войны, схваченного и сгинувшего бесследно в тридцать седьмом.

Известие о гибели сына тетя Лида перенесла молча и без слез. Что удивительно, я ни разу не видел ее подавленной или плачущей. И никогда она другим не жаловалась на свою судьбу и не поминала имени сына



своего, а ведь мы знали, что любила она Броню пуще своей жизни.

Вскоре тетя Лида перебралась жить в комнату-шкаф, а свою уступила Прокопьевым; с двумя-то ребятишками им ох как тесно жилось на нескольких квадратных метрах. Никто ее не понуждал, сама так решила.



МУМИЯ

Дымящиеся темно-коричневые буханки шмякались на грязный обледенелый снег. Некоторые от удара лопались, верхние поджаристые корки отскакивали прочь, а Юрасик продолжал швырять хлеб наземь. Потом он на ходу прикрыл створку ящика и повесил на прежнее место замок.

Сопровождавший хлебный возок мужик в заиндевелом тулупе с поднятым высоченным воротником ничего не замечал, потому что справа, почти вровень с мордой низенькой лохматой лошаденки, бежал Илька Жмот, брат Юрасика, и отвлекал внимание простоватого охранника. Возчик держал кнут наготове, чтобы хлестнуть Ильку, если он, например, ухватится за оглоблю, желая подкатиться задарма.

— А ну с дороги!— гаркнул возница из покрытого густым куржаком воротника и щелкнул кнутом. Илька, оглянувшись, прибавил скорость, некоторое время бежал впереди лошади, а затем съехал на тротуар и повернул назад — он свое задание выполнил.

Тут хлебовоз почувствовал беспокойство, повернулся налево, кнутовищем отогнул воротник, взглянул на дверцы ящика и замок, висевший там, где ему и положено висеть. Довольный результатом проверки, он огрел рыжую кобыленку одеревеневшим на морозе кнутом, крикнул на нее матерно-свирепо и помчал дальше.

Тем временем Юрасик, озираясь, собирал и засовывал в мешок скользкие мокрые буханки.

Подхватив два или три хлебные кирпича, улепетывал в опорках на босу ногу Бобка Сапогин. А я растерялся и наблюдал эти стремительно развивающиеся события, остановившись с длинным проволочным крюком в руках посреди дороги.

— Чего стоишь? Хватай!

И Юрасик подпнул мне и без того развалившуюся от сотрясения ржаную буханку.

Я нагнулся и поднял из наезженной колеи, наполненной серым, залощенным санными полозьями снегом, кусок булки, прижал его к груди и припустил за мелькавшей впереди фигурой расхристанного Бобки с голыми розовыми пятками.

Когда я ввалился, громыхая «снегурками», в полуподвальную комнату Сапогиных, то Бобка, в незастегнутой, без единой пуговицы, просторной телогрейке, подпоясанной старой, дыра на дыре, шалью тети Паши, стоял возле замызганного дощатого стола и толкал в рот горсть хлебного мякиша, а исхудавший до голубизны младший его брат Венка, по прозвищу Гундосик, рвал зубами заляпанную снегом подгоревшую корку.

— Здорово, а?— с восторгом прошамкал Бобка.— Ловко вертанули, а?

А до меня только сейчас стал полностью доходить ужасный смысл содеянного нами — ведь мы ограбили хлебный возок! И я — тоже!

Бобка спешил, давился, стараясь проглотить не жуя, от одной из трех лежавших на столе буханок уже почти ничего не осталось. Бросив «подкатной» крючок в угол, я над столом разжал пальцы руки, и на столешницу плюхнулось то, что подобрал в дорожной колее,— липкий, бесформенный шматок.

— Жри,— пригласил Бобка.— Шамай, Долгов.

К шматку потянулся худой, давным-давно не мытой рукой Венка, но я почему-то приказал:



— Не трогай!

— Тебе чо — жалко, што ли? — обиделся Бобка и воинственно размазал замусоленным рукавом телогрейки влагу под носом.

Венка растерзал следующую буханку, еще не остывшую, даже горячую внутри. В давно нетопленной комнате Сапогиных от булки струился пар и пахло свежим хлебом так, что слюни сразу заполнили рот.

— Не трожь этот хлеб,— выкрикнул я.

Бобка вытаращил на меня глаза, выгрызая мякиш с корки.

— Ворованный...

— Ну и чо?— удивился Бобка.— Не у тебя ведь...

— Мы его украли, понимаешь?— громко произнес я.

— Не...— замотал головой Бобка.— Мы его вертанули. Эти буханки — верченые. А не у людей...

Дверь неожиданно и широко распахнулась. Венка мгновенно сунул свою краюху под большую подушку цвета затоптанной земли. Я обернулся — на пороге в клубах морозного воздуха стоял ухмыляющийся Юрасик Крысов, один из самых отчаянных парней с нашей улицы. Он был на несколько лет старше нас с Бобкой и поэтому не якшался с нами вовсе. У него была своя компания, но сегодня мы оказались его сообщниками.

— Здорово, шпана,— поприветствовал он, ухмыляясь, и золотая коронка сверканула в темноватой комнате.

— Дверь-то, закрывай!— пропищал Венка.— Холодно, чай.

— На улице теплее,— пошутил Юрасик и передвинул губами из одного угла рта в другой папиросу «метр курим — два бросаем» — с длинным мундштуком дорогую папиросину. Такие продавались на толкучке парно по пятнадцать рублей.

Я закрыл дверь.

— Сколь буханок приволок?— спросил он Бобку.

— Три.

— А ты?

Я молчал.

— А он — нисколь,— ответил за меня Бобка.

— Жухнул?— нахально спросил Юрасик и ощупал мою грудь рукой с перстнем на среднем пальце.— Куды притырил? Говори, куда заныкал!

Юрасика мы, пацаны помладше, боялись. Он был скор на расправу, если с ним не соглашались, перечили или не подчинялись его повелениям. Причем избивал жертву безжалостно и весело — такая у него была манера.

— Ну, ты, маменькин сынок, колись: где хлебушек?

Он пятерней с голубым камушком на пальце сгреб воротник моей телогрейки под подбородком и надавил на шею. Я поперхнулся.

— Сшамал? А ну открой хавало!

— Вон лежит,— просипел я.

Юрасик взял со стола липкий шматок, подкинул на ладони и сразу шмякнул им о столешницу.

— Эх, испортил товар... А ты сколь, говоришь, хапнул?

— Две,— слукавил Бобка.

— Не темни, гнида. Половина — моя доля. Я вертел — мне положено. По закону.— Он сграбастал оставшуюся буханку.— Давай другую. Давай, давай, не жмись...

Бобка подал Юрасику надкушенный ломоть.

— В замазке,— сказал Юрасик Бобке небрежно.

— Ты — тоже,— ткнул он мне пальцем в грудь, и голубой камень в перстне опять полыхнул разноцветными искрами, и радужные светлые полосы скользнули по серо-желтой стене.

— В какой замазке?— недоуменно спросил я.

— Эх ты, фраер... Бобик, растолкуй ему. И больше не вздумай жухать, не то из кишки вытащу, слышишь, Сопля?

— Угу,— поддакнул старший Сапогин.

Юрасик вынул изо рта «казбечину», приладил окурок

к ногтю большого пальца правой руки, прижал безымянным, прицелился в обрамленный багетной рамкой фотографический портрет тети Паши, матери Бобки и Венки, за ним хранились хлебные карточки и фронтовые письма Сапогина-отца, и щелкнул. Мундштук прилип ко лбу неправдоподобно красивой, с нарумяненными щеками и малиновыми губами, тети Паши — именно такой изобразил ее мастер-фотограф, когда по тете Паше «мужчины с ума сходили», как она сама пояснила.

— Ну, ты — чево?— задиристо пропищал Венка.

Но Юрасик не обратил на его протест внимания, а засунув руки в карманы шикарной драповой «москвички», насмешливо произнес:

— Паше привет... от старых щиблет.

Прилипший к портрету окурок весьма забавлял Юрасика, который чувствовал себя в квартире Сапогиных полным хозяином. Любуясь творением рук своих, он ощерился, довольный, и золотые огоньки вспыхивали и переливались во рту — это бликовали недавно вставленные для форса коронки.

Юрасик ушел, поскрипывая новыми белыми фетровыми бурками, сшитыми на заказ знаменитым челябинским сапожником Фремовым. В левой руке его был зажат обыкновенный мешок из сермяги с пахучим, теплым ржаным хлебом. И все мысли мои были о нем, о хлебе.

Сидевший под ветхим одеялом Венка после ухода Юрасика вскочил на кровать, смахнул окурок с фотографии, спрыгнул босыми ногами на ледяной пол и предложил:

— Давайте слопаем этот кусман,— и он показал увесистую горбушку.

Венка разломил хлеб на три куска. Бобка поспешно схватил тот, что лежал с моего края. Он показался Сапогу больше, чем другие.

Я не притронулся к хлебу. Вовка заметил это мое бездействие, кивнул головой на стол и заявил:

— Ну и — дурак. Подыхай с голодухи!

— Это... это,— хотел возразить я, но не находил нужных слов.

— Это я мамане оставлю. Нажрался до отвала,— сказал Венка, показал брату обгрызенный со всех сторон кусочек с пару спичечных коробков величиной и спрятал его под подушку.

— Ну и дурак,— повторил Бобка, только теперь уже брату.— Она на донорском пункте похамает.

— Я пойду,— сказал я и забрякал коньками по половицам, но, не дойдя до двери, вспомнил:— А что за замазка, про которую Юрасик талдычил?

— Замазка? А это когда ты должен. В карты проиграешь или вещь возьмешь носить. Или деньги. Должок, значит, за тобой, Долгов,— сострил Венка.

— Я Юрасику ничего не должен. Так ему и передай...

— Сам ему скажи, если такой умный,— ответил Венка.

— И скажу. Скажу, что мы хлеб украли. Нас за это в тюрьму надо посадить.

— Малолеток в тюрьму не сажают,— поправил меня Венка.— Нам еще нет двенадцати. Нас не в тюрьму, а в детскую колонию отправят, в Атлян.

— Откуда ты знаешь?— не поверил я.

— Ленчик трекал. Залетный щипач. Он у нас ночевал. С мамкой спал. Позырь-ка, что он мне дал. Насовсем!

Венка извлек из-под той же, единственной, грязнущей подушки и показал раскладной, с многочисленными отделениями, кожаный бумажник. И тотчас спрятал туда же — под подушку. Там хранилось все его состояние.

«Зачем я это сделал, зачем?— задавал я себе мучительный безответный вопрос, выбираясь по обледенелым ступеням из полуподвала. Мне стало так неуютно и одиноко в этом насквозь промерзшем, окружившем меня мире предметов: перламутровые тополя, наклеенные на густую синь неба, зябко прижавшиеся друг к дружке заиндевелые дома с бельмами окон, звенящий от холода воздух, сверкающие в матово-голубых сугробах живые снежинки-светлячки — ничто не радовало меня, даже

такая красота. Ноги мозжило от усталости и неудобства положения. Коньки я прикрутил к валенкам веревками, на ступни давило хотя и не очень больно, но постоянно и нудно.

И почему-то из своего внутреннего видения я никак не мог изгнать — вот привязался!— эпизод, напугавший меня во время недавнего вечернего катания на улице.

...Полуторка неслась на большой скорости, но я, прекратив дыхание, помчался по обочине дороги так, что тополя замелькали справа, и закинул-таки длиннющий проволочный крючок за болтающийся дощатый борт. Меня сильно рвануло вперед. Почудилось, что я полетел по воздуху. Толчок, за ноги будто кто дернул, но я устоял на тупоносых «снегурках». И в этот миг задний борт расхлябанного кузова неожиданно откинулся, грохнув. Вероятно, он был плохо закреплен и открылся от моего подцепа. Тут полуторка тормознула на перекрестке, и я влепился в болтающийся борт грудью, и перед моими глазами предстала страшная картина: кузов был полон замерзших трупов. Они лежали штабелем в два ряда, причем по голым ступням, к которым были привязаны фанерные квадратики, дергаясь, двигали туда-сюда стриженые головы, а по ним хлопал край рваного брезента, закрывавшего этот ужасный груз.

С огромным усилием — меня, словно гвоздь мощным магнитом, притягивало к борту — я оттолкнул себя и, уронив крючок, запрыгал через глубокий сугроб, выбрался на тротуар, повернул к дому и побежал что есть сил, не замечая ничего вокруг.

Не сразу я пришел в себя. Кошмарное видение не отпускало меня и после. Попутно каждый раз вспоминался и тот стриженый, которого били и топтали на городском рынке за украденный им пончик. Странно, однако я — никому-никому!— и словом не обмолвился о полуторке, наполненной мертвяками.

А сейчас, когда я выбрался из сапогинского под-

вала, меня это видение преследовало неотвязно, и я тщетно убегал от него, словно в дурном сне.

На мучительный вопрос, заданный себе потом множество раз, где подобрали столько одновременно умерших, я тогда так и не смог ответить.

Истощенные трупы, почти скелеты, подпрыгивавшие на дорожных ухабах, явились как бы посланцами из другого, зловеще-неизвестного мира — о нем я ничего не знал, но он, этот страшный до дрожи мир, где-то существовал. Где-то...

Спотыкаясь, я кое-как доковылял до дома, до нашей светлой и чистой комнаты, в которой было тепло и спокойно — сюда не ворвется наглый и рукастый Юрасик. Мне хотелось навсегда забыть о происшедшем, как будто этого ничего и не было, но память упрямо воссоздавала с беспощадной правдивостью эпизоды ограбления хлебной повозки, и в ушах звучало навязчиво: «Зачем ты это сделал, зачем? Как у тебя рука поднялась взять чужое? А если кто-то видел? Герасимовна или тетя Тоня? Позор! А если — Мила?»

От одной этой мысли, что Мила могла стать очевидцем нашего беспутства, меня бросило в жар. Я сразу взмок, представив себя бегущим с прижатым к животу шматком ржанины, а Мила с изумлением и презрением смотрит на меня с тротуара. Этого я не должен был делать — ни за что! Я обязан был крикнуть что есть силы: «Дяденька! У вас хлеб воруют!»

Вот что я обязан был сделать!

За что Юрасик меня, наверное, убил бы, но зато я поступил бы честно, как настоящий пионер, как Павлик Морозов. А теперь Бобка с Венкой, несомненно, растрезвонят обо всем Юньке Бобыньку, ведь он их сосед, живет в комнате через стенку, только вход с другого коридора. Вот стыдобушка-то мне будет! За такое и из штаба могут погнать — какой же я после этого тимуровец? Если и выгонят — поделом!

Больше всего меня мучил один вопрос: признаться

ли в своем мерзком, отвратительном проступке Юньке и Гарику Кулешу, новому члену нашего штаба? Или умолчать?

Я тщился дочитать увлекательнейшую книжку «Серебряные коньки», которую мне дала на пару дней Мила, но смысл повествования ускользал — такого со мной раньше не случалось.

Мама премного удивилась, убедившись, что в последующие вечера, вместо того чтобы гонять по улице на коньках, я сижу дома, присосавшись к пятому тому довоенного издания «Жизни животных» Альфреда Брема.

— Почему не гуляешь?— спросила мама.— В духоте киснешь...

— Горло болит,— слукавил я.

На самом же деле мне смерть как не хотелось встретиться с Сапогами и еще более — с Юрасиком. С чего ради он возомнил, что я ему должен? И что именно? Хлеб? Так я и щепотки не съел. А больше я у него ничего не брал. Значит, ничего не должен. И пусть он от меня катится колбаской...

И все-таки встречи с Юрасиком я не избежал.

— Эй, архаровец!— поманил он меня пальцем, остановившись на тротуаре возле наших ворот.

— Гера меня звать,— сказал я хмуро, предчувствуя неприятность.

— Канай сюда, Гера. Булка чернухи за тобой. Когда отмазываться будешь?

— Ничего я тебе не должен,— решительно заявил я.

— Грубишь взрослым? Не отмажешься — коньки срежу.

Он откинул за спину длинный конец своего вязанного из пуха белого шарфа и, попыхивая папиросой, воткнутой в золотой рот, вразвалочку продолжил прогулку по Свободе.

Всем своим видом, разболтанной, «блатной» походкой, властным обращением с другими и расправами по поводу и без Юрасик нагло утверждал, что он хозяин

на нашей улице, а мы, ребята помладше, должны беспрекословно выполнять его волю.

А я с этим не мог, не хотел согласиться и смириться. С какой стати он возомнил, что вправе помыкать мной? Кто он такой? Подумаешь — блатной!

Когда ожесточение во мне созрело, то и необходимость рассказать о случайном, как мне думалось, участии в «верчении» булок друзьям уже не угнетала, как в первые дни.

На сей раз мы собрались в зимнем штабе — «эскимосском чуме», сложенном нами на огороде из снежных глыб-кирпичей. Для крепости и теплоты мы обрызгали снаружи наше сооружение водой. Внутри «чума» выложили стол и сиденья, тоже из плотного снега.

Я рассказал все, как было.

— Ни кусочка не отщипнул?— уточнил Юнька.

— Ни крошки. Бобка может подтвердить.

— Мы тебе и так верим,— высказался Кулеш.

— А еще так будешь делать?— сурово спросил Юнька.

— Никогда!

— А если Юрасик заставит?— не унимался Бобынек.

— Как он меня заставит, если я не хочу? Не буду, и все,— заявил я, ликуя от собственной храбрости и решительности.

В этот миг, чтобы доказать друзьям, что они не напрасно поверили в мою честность, я не раздумывая вышел бы один на один против Юрасика, хотя для победы у меня не было ни одного шанса. Я, несомненно, обрек бы себя на верное поражение, лишь бы очиститься от скверны, тяготившей меня.

В «чуме» стояла стужа, а я весь взмок — от переживаний. Ох как непросто признаться другим в гадком своем деянии, тем более если эти другие — твои лучшие друзья!

— Матери-то не разболтал?— поинтересовался Юнька.

— Нет. Знаешь, что она устроит, если я признаюсь?

Побежит к Крысовым. И в милицию. Такую кашу заварит — не расхлебаешь.

Друзья со мной согласились, что взрослым не следует выбалтывать лишку. Они нам лишь навредят.

— В случае чего, мы тебе поможем,— заверил Бобынек.

Я в этом не сомневался, и уверенность в дружеской поддержке успокоила меня. Уже не такими опасными представлялись мне возможные встречи с Юрасиком. И я уже знал, что не поддамся запугиваниям уличного верховода — выстою.

А вскоре произошел вовсе необыкновенный случай. Скрипя коньками по утоптанному снегу — стоял крепкий морозец, я подкатил к нашей калитке, но она вдруг со стуком распахнулась от сильного удара, и во двор ворвался Юрасик в расстегнутой «москвичке». Он показал мне кулак, обогнул сугроб возле ворот и упал под него. В тот же миг в проеме калитки возникла фигура молодого мужчины в кубанке, и тоже в «москвичке», и с... наганом в руке.

— Где он?— запыхавшись, спросил меня преследователь.

Увидев наган, я развернулся и что есть духу припустил к своему дому. Домчавшись до стайки тети Глаши и не слыша за собой погони и выстрелов, оглянулся. Мужчина в кубанке по глубокому снегу пробрался к забору, отделявшему наш двор от территории Брутовых. Вот он ухватился за верхние доски, перемахнул через них и скрылся в высоких кустах сирени — видать, туда вели чьи-то следы.

Юрасик, выглядывавший из-за сугроба, поднялся и устремился в мою сторону. Я снова дал деру, но на крыльце почувствовал себя в безопасности и остановился. Юрасик в тот момент перескочил низкий заплотик возле сарая-склада и рыскнул туда-сюда в посадках акации, а там и до его хатенки огородами рукой подать. Вскоре поблескивавшая хромовым верхом его шапка исчезла из виду.

«Зачем тот дядька с наганом догонял Юрасика?— размышлял я.— Наверное, тоже шпана. Что-то, поди, не поделили. Или во время картежной игры поцапались».

Постепенно я успокоился. Похоже, ни Юрасик, ни гнавшийся за ним не собирались возвратиться в наш двор. Я с опаской приблизился к воротам, шагнул на улицу, там все выглядело мирным. Разбежавшись, я выкатил на проезжую часть. В конце квартала маячил Колька Муравьедов, тоже с длинным проволочным крючком для зацепа за борт автомашины или за перекладину саней. Я жиманул к нему изо всех сил.

Кольку мой взволнованный рассказ не удивил. По его словам, он и не такое видывал, а наганов у него от Дяди Мори, брата старшего, якобы осталось — куча. Врал, конечно.

А еще дня через два-три — мы играли, гоняя по дороге палками и проволочными клюшками замерзшие конские катыши,— Юрасик окликнул меня и подозвал к лавочке, где сидел и лузгал семечки вместе с черноглазой веселой красавицей Розкой Фремовой.

— А ты молодчага, Долгов. Не заложил меня мусору. Держи.

И Юрасик протянул горсть жареных подсолнечных семечек. Я подставил обе ладони.

И, обнимая румянощекую и счастливую Розку, кавалер поведал ей:

— Мент-тихушник рвал за мной с дурой наголо. Я думал: шмальнет начисто... Еле ушел. Вот он — помог.

— Бандитик ты мой фартовый,— засюсюкала нарочито Розка и длинно поцеловала Юрасика.

Так вот, оказывается, в чем дело: за Юрасиком гнался вовсе не ширмач, а милиционер.

— А почему же мильтон был не в форме?— спросил я Юрасика, когда Розка отлепилась от него.

— Тихушник, из уголовки,— охотно разъяснил Юрасик и повторил:— А ты молодец. За это я тебе должок скащиваю! Хотя ты и трусоват!

— Вовсе я не трус,— взъерепенился я.

— Божись, что поканаешь с нами хлеб вертеть.

— Не пойду.

— Что — мамка холку надерет?

И они обидно засмеялись, а Розка запела:

Мамки нет, и папки нет,
Некого бояться.

Юрасик подхватил:

Приходите девки к нам,
Будем целоваться.

Я отошел от лавочки, разжал кулаки и высыпал семечки на снег.

При последующих встречах Юрасик шутил издевательски и всегда одинаково:

— Эй, мамкин сынок, когда побежим хлеб вертеть?

Что мне было ответить? Не сумел я тогда, не нашел точных, смелых слов, чтобы дать понять насмехавшемуся надо мной уличному «хозяину», что не в маминых запретах суть, а в том, что мне нестерпимо стыдно признаться даже себе, что участвовал в краже хлеба,— ведь кому-то его не хватило, кто-то голодным остался. И со мной не раз такое бывало — торчишь, маешься весь день в очереди, а хлеба почему-то не подвезут или передо мной последнюю булку отдадут. А со стены, из-под потолка, ухмыляясь во всю розовую рожицу — рот до ушей, толстощекий пекарь протягивает поднос, полный булок, ватрушек, кренделей и пирожных. Разумеется, этого балагура-кондитера нарисовали на стекле еще до войны, но не знаю, как у других, а у меня голодные спазмы в животе начинались, как только я поднимал глаза и невольно принимался разглядывать пышную стряпню, вкус-то которой давно забыл.

Вот и плетешься домой с пустой торбочкой — слезы на глаза наворачиваются мутной пеленой, а на уме — те пирожные и шаньги.

С горечью однажды признался себе: значит, и я оставил кого-то без пайка. Я представлял в воображении,

как какой-нибудь голодный пацаненок возвращается из магазина с пустыми руками, и не находил себе места... А тут еще Илька Жмот подошел к нам и торопливо выкрикнул:

— Созорок одизин!

Мы с Юнькой Бобыньком, накатавшись на коньках до горячего пота, стояли у ворот его двора и грызли зеленый жмых, голодные до дрожи в коленях.

— Сорок один!— уже нормально повторил Илька и протянул темно-серую кисть руки с розовыми кончиками пальцев.

Еще прошлым летом Илька научил нас тайному языку, с помощью которого мы могли изъясняться, не опасаясь, что нас поймут другие. Новый язык был прост: к каждому слогу последовательно приговаривалось по слогу «за» либо «зо», «зе», «зу» и другие буквенные сочетания. Мои имя и фамилия выглядели так: «Гезераза Дозолгозов». Или: «Изидезем наза резекузу». Попробуй разберись!

— Тызы озоглозох, штозо лизи?— разозлился Илька.

— Не дам,— воспротивился я.— Шиш тебе!

— Почему это?— возмутился Илька.

— Потому что потому, оканчается на «у».

Юнька с любопытством наблюдал нашу стычку.

— Жмых стибрили?— сощурился Илька.

— А тебе какое дело?

— А такое: половину отдай Юрасику — положено. По закону.

— С какой это стати?

— Он — блатной. А я евоный брат, во...

Меня Илькина наглость так взбудоражила, что я пошел на небывалую дерзость:

— Иди ты со своим Юрасиком знаешь куда? Блатные... Ему работать надо, на заводе, а он блатует, паразит.

Илька изумился моему безрассудству. Но изловчился и вцепился в кусок жмыха, который я сжимал в кулаке. Однако хапком отнять жмых у меня ему оказалось не по силам. Тогда он просипел:

— Отдай — не греши, а то харкну на тебя — сразу сифилисом заболеешь.

И поняв, что не сумел запугать, добавил:

— И чихоткой!

Однако я вывернул свой кулак из скользких Илькиных ладоней, а его оттолкнул с силой. Илька растянулся на тротуаре, раскисшем кое-где под пригревом февральского солнышка.

— Ну, Долгов, все! На блатных руку поднял, да? Юрасик тебя заделает...

— За брата тыришься? А ты честно, один на один выйди...

— Ты еще нам попадешься! На улке.

И Илька, разозленный, смотался в свою подворотню.

— Сейчас Юрасика позовет,— сообразил Бобынек.— Идем домой. Ну его...

Признаться, вовсе не хотелось встретиться с Юрасиком: было ясно, что не только мне, всем штабом с ним не справиться.

И мы разошлись по домам. Оставшись наедине, я поразмышлял над происшедшим и сказал себе: ты струсил! Поэтому и сбежал с улицы. И мне стало еще горше.

Первые дни я опасался встречи с Юрасиком, а после утвердился в решении: пусть он изрежет меня финкой (наборная ручка ее из разноцветного оргстекла всегда торчала за голенищем его правого бурка), пусть!— но «вертеть» не пойду. И о том, что о нем думаю, прямо скажу в глаза. И прощения у Ильки просить не буду. Тем более что жмых Юньке купил отец — на кровные деньги.

Боже, с каким трепетом и отчаяньем я ждал этого дня! И он наступил. Я ожидал худшего, но, вопреки моему ожиданию, Юрасик не набросился на меня, не побил и не зарезал. Он лишь ухмыльнулся, когда я ему заявил:

— Ты — вор! А я не хочу воровать и не буду...

Другой на его месте взбеленился бы — кому охота признаться в позоре, а он, заулыбался, похоже, довольный

услышанным. И гордый. И лишь выплюнул сквозь золотые зубы презрительно:

— Фраерюга...

Я повернулся и пошел к своей калитке. С моих плеч словно гора свалилась.

А весной эта история с «верчением» хлеба неожиданно и трагически закончилась.

Еще накануне я видел Юрасика в окружении каких-то чужих взрослых парней с очень решительными жестами. Они устроились на лавочке у ворот дома, где жил Гарешка, и по очереди курили огромную трубку с длинным, больше метра, изогнутым мундштуком и гоготали.

Прохожие, завидев буйную компанию, переходили на тротуар нашей стороны. Я даже не попытался проскочить мимо незамеченным, и Юрасик засек меня, но не выкрикнул свою дежурную шутку насчет того, когда же я вместе с ним побегу «вертеть» или мамка все еще мне не разрешает. С независимым видом, не спеша, я прошел до своей калитки.

А днем позже, выстаивая очередь в хлебном магазине на пару со Стасиком, услышал новость: вчера в недостроенном кирпичном доме по улице Пушкина, рядом с этим магазином, к которому мы были «прикреплены», участковый милиционер Кривоногов в перестрелке убил какого-то бандюгу, которого давно и безуспешно пытался изловить на месте преступления. А преступления тот всегда творил одни и те же: грабил хлебные повозки.

Мы, несколько пацанов из очереди, тут же обсудили неслыханное происшествие и высчитали, что стреляные гильзы мы же можем отыскать. Уверовавшие в удачу, мы полезли на «стройку», превращенную в свалку нечистот, осмотрели все закутки возведенного в предвоенный год первого этажа большого кирпичного дома, но никаких гильз не обнаружили. Зато в угловом помещении с зияющим захламленным подвалом мы сверху, со стены, узрели валявшуюся среди нечистот помятую буханку хлеба. Никто из нас троих не отважился спу-

ститься вниз, чтобы подобрать находку,— уж очень зловещей она нам казалась.

А еще день спустя от Бобки Сапогина я узнал, что исчез Юрасик. Подтвердил это и Илька.

А я не хотел верить, что вот так, вдруг, испаряется человек, словно его и не было. Ну, не может так быть. Отца Брони забрали ночью, весь дом переполошили, так громко стучали в дверь, а Богатыревичи не хотели открывать.

И тут вспомнилось, казалось бы, прочно забытое, один «секретный» разговор бабки на общей кухне. Она, шепелявя, нашептывала маме о невероятных злодействах: будто у нас ни за что ни про что берут и расстреливают.

Я вроде бы из поддувала золу выскребал, а сам прислушивался, бабке с мамой и невдомек было, что я весь напрягся и ловил каждое слово. Часто же взрослые недооценивают любопытство и способность, казалось бы, несмышленых детишек многое слышать и видеть.

— Вздор все это,— резко и громко ответила нахмуренная мама бабке.— Это все злостные наветы врагов народа. Так у нас не может быть.

Мама сделала ударение на слова «у нас».

— И што ты, Павловна, иштинная правда,— оправдывалась Герасимовна.

А я подумал: «Во глупая старуха. Наслушалась в очередях всяких сплетен и несет околесину. И не понимает того, что сплетни те выдумывают и распространяют в очередях переодетые немецкие шпионы. Чтобы боевой наш дух подорвать. Но не на тех нарвались». И я полностью согласился с мамой, которая демонстративно повернулась спиной к бабке, не желая продолжать разговор.

А сейчас, когда воедино собралось виденное и слышанное: грузовик трупов, увод бывшего царского офицера Богатыревича, исчезновение Юрасика, нашептывание Герасимовны,— все это требовало ответа: как так? по-

чему? Но спросить было не у кого. Да и кто стал бы меня слушать?

Но на том загадочная Юрасикова история не закончилась.

Летом свободские ребята зачастили на улицу Коммуны, в медицинский институт, эвакуированный в Челябинск в начале войны из Харькова. Приклеившись носами к стеклам окон первого этажа, мы завороженно наблюдали за всем происходившим в анатомичке. Там, в просторных залах, в ваннах, наполненных раствором бурого цвета, лежали страшные, черные покойники, с которыми отважно общались бесшабашные студенты в белых халатах, укладывая их на узких оцинкованных столах. Они расшнуровывали вспоротые животы, что-то отрезали у трупов, отпиливали ножовкой конечности,— ужасное, захватывающее зрелище.

Время от времени нас гонял обросший прозектор в клеенчатом фартуке до пят, но мы тут же опять приникали к стеклам.

Однажды мы наблюдали действо, от которого мне стало дурно и чуть не стошнило: за какие-нибудь полчаса энергичный прозектор разделал только что привезенный труп с коротко остриженной головой. Однако я перемог свое предобморочное состояние и лишь гадал: откуда доставили эти трупы? Видимо, из больницы. Родственников поблизости не оказалось, вот и забрали в анатомичку. Страшная судьба.

Меня буквально потрясла простая догадка: неужели и со мной вот так обойдутся, если умру?

Но я тут же отринул эту мысль: нет, мама не отдаст меня прозектору с зажатой в резиновой перчатке никелированной ножовкой.

И все же во мне клокотали и негодование и протест: как так можно — распилить мертвого на части и разнести по разным углам? И нет человека. Совсем! С этим я никак не мог смириться.

Какое-то время я всячески избегал подобных зрелищ

но чтоб ребята не заподозрили во мне слабака, снова стал наведываться на задворки мединститута: жуть происходившего в анатомичке отвращала и притягивала одновременно.

Не знаю, кто первым из нас приметил прислоненную к боковой стене мертвецкой... мумию. «Мумия» эта была не что иное, как усеченный наполовину труп, будто мертвец вылезал откуда-то из-под пола и застрял. Страшное это было зрелище. Особенно оттого, что кожа с одной половины лица была содрана и фиолетово темнели мышцы, окружая желтый оскал зубов, которые спереди были выбиты. Я после этого не мог спать, каялся, что смотрел долго и подробно, и теперь она стояла перед глазами.

Но на следующий день мы со Стаськой опять были у окна и опять разглядывали «мумию» — она стояла уже в другом месте. Видно, студенты изучали по ней что-то.

А через несколько дней после этого «мумию», видно, за ненадобностью вынесли во внутренний, глухо закрытый дворик.

Спрыгнув с забора и озираясь, чтобы не изловил сторож, я подкрадывался к «мумии» насколько мог близко и с тошнотной дрожью разглядывал и разглядывал, пытая непосильную для меня тайну смерти... И когда страх накапливался до предела — я стремглав бросался к забору и в мгновение ока взлетал на него. На заборе я чувствовал себя куда увереннее. Потом я тихо, боясь уже не мертвеца, а сторожа, сползал с забора и несся домой.

И вот раз от разу я стал сознавать, что притягивает сюда меня и мучает не одно лишь любопытство, а какой-то неуловимый и тем более ужасный намек на какое-то сходство... Словно бы я запамятовал — где и когда видел в жизни кого-то похожего... Но кого?! Смерть, конечно, любого могла исказить до неузнаваемости. Я уже знал об этом. И все-таки сходство имелось. И однажды меня ударило — это же ОН! Я даже про себя не мог на-

звать его по имени. Я пошел к ребятам и поведал им о своем чудовищном предположении. Мы отправились за Илькой Жмотом, которого раньше с собой не брали. По дороге к моргу мы, как могли, его подготовили. Вот с моей помощью он вскарабкался на забор и бесшумно, как кошка, соскользнул по ту сторону. Я перелез за ним. Мы по стенке приблизились к «мумии»... Илька замер в полной окаменелости. И я следил за ним с какой-то двойственной надеждой...

Вечно чумазое лицо Жмота вытянулось и посветлело от внезапно накатившей бледности. И, прижав к губам темный свой кулак, Илька просипел:

— Он это... братан!



РОДНИК ВОЗЛЕ ДОМА

Он был совсем рядом — на лужайке в нескольких шагах от дома в центре Челябинска.

Когда я вдруг (тогда многие события происходили вдруг) по-настоящему разглядел его, изумление мое было столь велико, что я побежал к маме, как всегда, занятой домашними хлопотами, и воскликнул:

— Там, в ямке,— живая вода! Она шевелится!

Усталая мама не поняла меня.

— Вода не может быть живой, не выдумывай. Живая и мертвая вода — из сказки.

Я обрадовался еще пуще и тотчас бросился к явившемуся из сказки невероятному — с живой водой!— источнику.

Растянувшись на животе в густой прохладной траве, я приблизил лицо к лунке величиной с блюдце, наполненной такой прозрачной водой, что ее почти не было видно. Зато различалась по цвету каждая песчинка: белесая, серая, вишневая, черная с искрой... Они плавно отрывались от дна, поднимались, кувыркаясь, и опускались, чтобы вновь взлететь. Движения их завораживали своей загадочностью и беспрерывностью. Откуда пучится вода, к тому же такая холодная в жаркий день? Что за устройство там, под землей?

Нетерпение узнать было велико, и — вначале робко, а потом и шустрее — я стал вычерпывать из лунки ладош-

кой песок и землю. И вскоре на дне осталось немного жидкой грязи, что меня разочаровало. Скользкая воронка в земле уже не прельщала.

Возвратившись домой, я вымыл руки и увлеченно занялся разборкой механического — прыгающего, если его завести специальным ключиком — жестяного лягушонка. Меня давно и нестерпимо интересовало: что заставляет игрушку двигаться? И вот разрешение родителей получено — за дело!

Утром следующего дня я с удивлением увидел, что вода в расширенной мною лунке опять совершенно прозрачна и словно колышущейся слюдой покрыта. Наверное, очищенный родничок стал бить сильнее. Но мне не понравились обнаженные белые корешки трав, торчащие из осклизлых стенок, и бархатистая грязь на дне, дышащая, словно брюхо неведомого водяного животного. Я принес из уличной канавы чистого серого песку с маленькими разноцветными галечками и высыпал всю пригоршню в лунку. Когда муть осела, я увидел, что песчинки опять резвятся в бесконечном хороводе. Ожил родничок!

В начале зимы вокруг ключика образовалась наледь. Ох и покувыркались мы на ней!

Весной сорок второго весь наш огромный двор поделили между тремя домами, входившими в него. А в каждом доме семьи получили наделы земли сообразно своей численности.

Тетя Тоня Короелова на собрании жильцов заявила от имени неведомого мне домкома, что землю следует-де нарезать лишь на членов семьи, способных обрабатывать участок самостоятельно. Грудному младенцу Тольке и трехгодовалому карапузу Витальке, внукам Герасимовны, земли, дескать, не надо.

Бабка отчаянно возразила:

— Ты, Антонида, шибко умная штала в домкоме-то, а покумекала бы: ежели корову не кормить, будет она молоко давать? Вот так-то.

Меня упоминание о корове удивило: у бабки не то что козы — кошки не было. Корова в нашем дворе жила одна — в стайке у тети Глаши Васильковой, сестры тети Тони, ее семье она и принадлежала. Но при чем тут Герасимовна и ее внуки?

Большинство при общем голосовании поддержало бабку — ее непонятный мне довод убедил их.

Лужайку перед домом решили не трогать, а оставить для детей. В трех домах, по подсчетам Герасимовны, вообще-то ее звали Прасковьей Герасимовной, нас, пацанов и девчонок, набралось «цельная дюжина». Я всех по пальцам перебрал — получилось девять. И несколько лет спустя, когда отец мне поручал, например, купить дюжину яиц, я уверенно отсчитывал девять штук — врезалось.

Как же я ликовал, что вместе с поляной нам оставили и ручеек! Он незаметный тек в своей канавке, вероятно кем-то и когда-то углубленной для него, и тянулся в центре двора шагов на двадцать или чуть более. Разлившись возле груды бутовых камней лужицей, в которой жил большой жук-плавунец, переселенный мною из Миасса, опять уходил в землю.

Ручеек тек так тихо, что даже не журчал. Он словно таился от кого-то. Наверное, потому, что был слабым, не то что неукротимо-бешеная струя уличной колонки. Зато почва вокруг этого таинственного места всегда оставалась влажной, даже в сухие и жаркие лета. И в непролазных зарослях сирени близ дома, где жило семейство Брутовых, а они не пожелали выкорчевывать кусты и в самые трудные годы войны, царила прохлада, и вокруг высился целый лес гигантских лопухов. Именно здесь мы любили играть в «разведку» с непременной добычей «языка». А ручей служил нам «ориентиром». И не только.

Майским светозарным утром я выбежал во двор и не узнал полянку. Налево от тропинки, ведшей к парадному крыльцу нашего дома, до самого забора чернела

свежевзрыхленная земля, по которой суетливо бегал дворовый скворец. Ведь еще вчера поздно вечером я вприпрыжку возвращался по мокрой от росы траве, и все было на месте, и лунка с ручейком в своей канавке — тоже. И лишь непривычно серело несколько камней, зачем-то притащенных из нашей «крепости» костлявым, но жилистым Колькой Короеловым — Бумбумом. Еще вчера днем на нашей полянке я наловил полный спичечный коробок кузнечиков — на них так охотно клюют жадные окуньки. А теперь где их отыщешь, кузнечиков,— жить-то им негде.

Но почему изуродованную поляну не замечают Короеловы? Колька избегает смотреть в мою сторону и слишком уж усердно хлопает скалкой по вывешенному на просушку бесценному ковру, приданому тети Тони. На ковре изображены лихо пляшущие под гармошку бородатые цыганы в красных рубахах и черных, выше колен, сапогах.

— Тише ты, ирод рыжий, колоти! Испортишь вешши,— кричит, высунувшись из окна, тетя Тоня.

— Сам знаю,— огрызается Колька.— Без понятья, ли чо ли...

— Колян,— спрашиваю его,— кто нашу полянку перекопал?

— Не твоего ума дело,— угрожающим тоном отвечает Рыжий.— Любопытный больно. А то получишь за свое любопытство: бум! бум!

И он имитирует удары кулаками справа и слева. Именно за это пристрастие хвастаться, как он умеет тузить, Коляна и прозвали Бумбумом. Правда, я ни разу не видел, чтобы он задирал кого-нибудь из взрослых ребят. Но над младшими он чувствует себя всемогущим повелителем.

Хотя босые ноги Коляна не особенно грязны, я заметил у крыльца короеловские галоши с налипшей на них непросохшей землей. Неужели он?

Я положил наземь удилища и другие нехитрые принадлежности для рыбалки и кинулся к маме.

— Наш ручеек закопали!— завопил я, ворвавшись в комнату.

— Тише ты! Стасика разбудишь. Кто закопал? Зачем?

— Вся полянка перекопана. Это Колька! По чуням видно.

— Что ты мелешь? При чем тут чуни? А ты не фантазируешь опять?

— Не! Честно — не фантазирую. Нету ручейка. Только канавка осталась. И то не вся...

Маме, да и не ей одной, почему-то не нравятся фантазии, порождаемые — как бы независимо от моего желания, без всяких усилий и заданности, произвольно,— моим воображением. Реальное и выдуманное я зачастую путаю, а меня обличают: врешь! Это беда какая-то, и я, устыженный другими, уже чураюсь своих фантазий, а они преследуют меня на каждом шагу, и поделать с собой ничего не могу — воображение само, когда ему нужно, включается и создает диковинные образы и непредвиденные их действия. Люди мне порой напоминают или принимают обличье реальных, а то и не существующих животных. Нередко бывает и так: гляжу на человека, а вижу перед собой... бабочку-капустницу, например. Еще в детсадике я влюбился в кукольной красоты девочку — золотоволосую и голубоглазую, и она увиделась мною капустницей. Я быстро понял, что тут что-то не так — не может девочка стать белокрылой бабочкой, и удивлялся искренне: почему так получается? Спросил папу — он, глядя в газету, ничего не сказал, отмахнулся. Мама, выслушав мое сбивчивое излияние, посоветовала:

— Займись лучше игрушками. И запомни: обзывать людей нельзя, это неприлично, мало ли кто на кого похож.

— А курицу можно тетей Тоней назвать?

— Ни в коем случае,— отрезала мама.

— А ворону — бабушкой Герасимовной?

— Тоже нельзя. И забудь об этом.

А как можно забыть такое: я сорвал у забора цветок

мака, а он, оказывается, бабке принадлежал. Она очень рассердилась и закричала на меня: «Лешов шин! Вот я тебя ужо хворопштиной!» Я бросился наутек. Мне поблазнилось, что сейчас старуха превратится в громадную черную ворону, уже превратилась! И вот-вот клюнет меня сверху, схватив за плечи полированными кривыми когтями. И я увидел эти когти, впившиеся в мое тело, и вскрикнул. И понял, что бабка и с места не сдвинулась, а лишь припугнула меня — голос ее слышался издалека.

Мама не доверяла моим рассказам, потому что я не раз пытался убедить ее в том, чего не было, что лишь вспыхнуло и пронеслось в моем воображении. Но тогда, повторяю, я и сам не всегда отличал, что существует в самом деле, а чего нет и не могло быть.

— Ничего не понимаю. Ну-ка, идем...— недовольно произнесла мама, услышав про ручеек, ведь я ее от дела оторвал.

Мы вышли в общий коридор. Бабка Герасимовна, варившая для внуков на примусе овсяную кашу и слышавшая наш разговор, проскрипела:

— Антонида... Этто Антонида швоевольнишат. Мало ей швово-то надела, от мира даденного, дак она у робят пошледний лужок отхапала.

Услышав имя соседки, мама сразу повернула назад. Я — за ней.

— Будет тебе, Гера, из-за пустяков,— недовольно сказала она.— Не порть мне выходной день.

— Но это не пустяк,— горячо возразил я,— это наш ручеек. Всех.

— Прекрати. Из-за чего сыр-бор? Из вашего ручья и воробью досыта не напиться. Какой от него прок?

И, укрощающе поглядев мне в глаза, добавила:

— И в кого ты такой настырный? Все тебе больше других надо. Ох и набьешь себе в жизни шишек...

Мама, мама... Не понимала она, как выручал нас, защитников «крепости», родничок, когда мы, прижима-

ясь всем телом к земле, чтобы не засек «противник», подползали к нему с всамделишной солдатской фляжкой в зеленом брезентовом чехле и нацеживали ее дополна, под винтовую пробку. Крепостью мы звали груду бутового камня, привезенного незадолго до войны для строительства нового здания. До чего же вкусной была та вода из родника! Она прибавляла нам сил, и мы вновь бросались на «врагов» — чащобу крапивы и репейника и крушили их кривыми саблями, изготовленными собственноручно из бочечных металлических обручей.

Мама не уставала повторять, чтобы ни я, ни Стасик не пили из источника воду, якобы кишащую заразными микробами. Но мы не то что с удовольствием — с наслаждением всасывали, вытянув губы трубкой, воду из лунки, и — ничего. Только песок иногда похрустывал на зубах. Да откуда было взяться зловредным микробам, ведь их мог бросить лишь диверсант, а мы бдительно охраняли свой ключик, маскируя лунку листьями лопуха — чужаку ни за что не найти. Вот такой любимый родник был у нас. Был... В его исчезновение, несмотря на очевидность, не хотелось верить.

Еще накануне я нацелился преподнести маме подарок — к обеду нарыбачить на уху. Поэтому, подхватив снасти, потрусил к реке, на свое заветное место у водокачки, пока его никто не занял. Стоя по щиколотку в черном иле, я думал не о вертких пескариках, не о сопливых ершах, так и норовящих выскользнуть из пальцев, и не о красноглазых окунях. И не мечтал, как обычно, о поимке опасного — в омут не затащил бы!— в полпуда усатого сома, а все видел нашу исковерканную заступами полянку. Меня сверлил вопрос: куда делся родник и можно ли его вернуть?

К обеду не удалось наудить даже на скромную ушицу, попало десяток — всего-то!— пескаришек и ершиков, одна мелочь.

Спрятав связку рыбешек в мешочек, чтобы не отняли взрослые парни — случалось и такое, я помчался домой.

С минуту задержался на том месте, где еще недавно жил ключик, но тут ничего не было.

Присев на корточки, я принялся разгребать подсохшие сверху комья но ко мне решительно приблизился Бумбум.

— Проваливай отсюдова. Мы здесь картошки посадили. Не видишь, ли чо ли?

— Это не ваша поляна, а общая...

– Под нашими окошками, значит – наша. Уходи, а то как дам! Бум!

Я безошибочно почувствовал, что стычки не миновать. А мне, признаться, так не хотелось даже ссориться, не то что драться. К дракам я всегда испытывал отвращение, и преодолеть его стоило мне обычно больших усилий.

— Все равно отдадите наш родник... Он не твой и не теть Тонин, а — всех.

— Вот вы что получите, на — выкуси!— Колька злорадно сунул мне под нос грязный кукиш.— Мы будем с голоду подыхать, а вы — на полянке валяться? Ишь чо захотели... Обрыбитесь.

— Колькя!— окликнула сына тетя Тоня, наблюдавшая за нами из растворенного окна.— Брось ты его! Подь сюды, вешши примай...

Рыжий неохотно отошел от меня с видом победителя. Сколько же в нем было злости и уверенности в своих силах!

Тем не менее я утвердился мыслью: родник надо спасти. Но сейчас, днем, невозможно этим заняться — Колька не даст.

Вечером я принес из сарая лопату и спрятал ее в лопухах.

Долго не спал, выжидая, когда все в доме угомонятся и наступит тишина. Пробрался по темному коридору и вышел на крыльцо. Насколько жарило днем, настолько похолодало сейчас. Кругом — тьма непроглядная, нигде не единого огонька. И лишь отчетливо доно-

сятся тоскливые паровозные гудки с далекого вокзала.

В холодных и мокрых лопухах нащупал черен заступа. Жутью веяла молчаливая тьма, затопившая все вокруг. Только светляками мерцала голубая крапива, коварно обжигавшая ноги. Пронизывающая насквозь ночная свежесть заставляла мои зубы выбивать дробь, и я не хотел признаться себе, что лихорадит меня не от страха. Страшила неизвестность того, что может произойти в любой миг. Я стал подбадривать себя — нельзя было поддаться и отступить. Вот отброшена первая лопата земли, вторая, третья... Кр-р! Заступ наткнулся на что-то твердое. Камень! Понятно, для чего кожилился Бумбум, таская глыбы из «крепости». Предательские звуки соприкосновения металла с камнем заставляли еще чаще и громче колотиться сердце. Чего я опасался? Что меня застанут за этим занятием? Наверное.

Работа оказалась не из легких. Мне удалось обкопать глыбу со всех сторон, но не хватило силенок поднять и вытолкнуть из ямы. Я быстро выдохся.

Чуть не плача от досады, ругал себя, что не догадался пригласить на подмогу кого-нибудь из друзей.

Домой прокрался незамеченным. Сразу забрался под одеяло к теплому спящему братишке, но долго еще не мог унять дрожь.

Проснулся я поздно и сразу пошел посмотреть, что там, во дворе.

Бумбум уже успел заровнять яму. Увидев меня, погрозил поднятой лопатой. Я не пошел к нему объясняться. Двор показался мне неуютным — как никогда.

Удивительно, но все словно не заметили угробление родника. И никто из взрослых за него не вступился.

«Выходит, он никому из нашего дома не нужен,— горестно подумал я.— Или тетя Тоня самая сильная и ее все боятся?»

Долго, очень долго я не мог примириться с исчезновением ключа, будто потерял что-то невосполнимое, свое, неотделимое.

Через много лет, приезжая в город своего детства и наведываясь к родителям, я каждый раз вспоминал с грустью о давно не существующем источнике, о котором, вероятно, все прочно забыли.

Под окнами тети Тони росли то картошка, то цветы на продажу, то появился обнесенный металлической сеткой загон для нескольких десятков кур. Их разведением тетя Тоня занялась вместе с сожителем — лысым пенсионером Андронычем, суетливым и суесловным.

А меня все подмывало воскресить родник. Однажды я поведал о ключике Андронычу, ибо он вел хозяйство, но лукавый старик повздыхал нарочито и улизнул от прямого ответа. Деловой и практичный, он не пожелал рушить курятник. Ради чего, спрашивается?

А если бы даже мне удалось вывести ключик, то во что превратил бы его куровод Андроныч — в загаженную поилку для своих хохлаток?

Да и родители упросили меня не лезть на рожон, не тревожить и не раздражать соседей.

Минуло еще десятилетие. Скончался от сердечного приступа Андроныч. Переселили в новые квартиры оставшихся обитателей дома, а его разломали.

Рядом с руинами до сих пор ржавеет металлический скелет курятника, сработанный столь хозяйственным, сколь и алчным Андронычем — на века.

Теперь, кажется, можно беспрепятственно вызволить ключ. Он снова, наверное, ожил бы, надежно охраняемый непролазным, дремучим бурьяном, заполонившим двор. Но кому родник тут нужен, кого обрадует? Ведь кругом никто не живет. К тому же через некоторое время здесь воздвигнут бетонные коробки делового центра, а землю вокруг закуют в асфальтовый панцирь. Навсегда.



САЛЮТ

— Фюллер подох!— с надрывом выкрикнула в открытую дверь нашей квартиры Герасимовна.— Удавилша, как Иуда Ишкариот. Тьфу ему на поганую евоную могилу! Шлышь-ко, Егорка, вшех хвашиштов ижвели под корень в Берлине ихнем, проклятушшем. Коншилашь война! Дождалиша, шлава богу...

И она, перекрестившись, быстро зашаркала опорками по коридору, спеша оповестить остальных соседей. А я раньше о долгожданном событии узнал, и от самого Левитана — «Рекорд» мы не выключали, чтобы не пропустить важных новостей с фронта. Они все были важными, но это... Мы его ждали, и все же известие об окончании войны прозвучало пронзающе неожиданно.

Утром я поднялся ни свет ни заря, словно заведенный, и братишку растолкал, когда услышал о капитуляции.

Да простительно ли в такой день сидеть за уроками дома? На улицу, быстрее... Ведь наступил день, который уже давно обозначен как самый-самый.

Утро выдалось прозрачное, золотисто-голубое, обрамленное свежей нежной зеленью.

Исполнилась моя самая желанная мечта — ничего я так сильно не жаждал, как Победы. И возвращения отца домой. Мне мнилось, что жизнь вокруг изменится сразу. Ох и житуха настанет! Как до войны! Или еще лучше!

Соседи уже высыпали во двор. Все выглядели совсем иначе, не как вчера. Небывалое счастье словно всех породнило.

— Вот оно, это самое-самое,— решил я.

Меня привлекла табуретка с короеловским синим патефоном. На круглом сиденье венского стула аккуратной стопкой лежали грампластинки. Ясно — затевается концерт. А вот и Колян еще пластинки прет, прижал к животу, кричит мне:

— Подмогни, чего стоишь!

Да я — с удовольствием. Раз, два, три, четыре... Все знакомы, наизусть знаю... Вот любимая: «Спят курганы темные». Бернес поет. Здорово! Никто лучше него не умеет петь, особенно песенку из «Истребителей»: «Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны...»

— А ты помнишь, Антонида, кады война-те нашалась. Я ить баила: ох, больша беда грядет. А Ванька-то, мужик твой, говорил: мол, мы его, энтого хвашишта, на гранише раждавим, как шервяка. А оно вон как вышло.

— Ну, что, Герасимовна, вспоминать прошлое? Кабы один Иван Петрович, а то ить все эдак думали.

— А я жнала. Ишшо по той германьшкой. Та тоже школь лет была — народ вешь обголодал и обношилша, ш голоду по деревням мерли шемьями.

— А в нонешнюю разве мало померло народу?— подхватила тетя Тоня.— Из бани и то сколь раз дохляков увозили. Все больше в халатах ватных, в тибитейках — трудармейцы...

Она понизила голос, но я все равно расслышал ее слова.

— С голоду пухнут, а в халаты зашивают тыщи. Пайки продают свои, все деньги копят... Куды, спрашиватца, те деньги?

— Да, да,— поддакивала бабка.— Вот она, жадношть-то! А ты, Антонида, на бога уповай — Иван твой

и вожвернетша. Да и куды ему детша опошля-то войны? В гошпитале мужик твой лежит, память ему отшибло бонбой, да ить ошухаетша ён и придет.

— Знаю, знаю, что придет,— утирая кончиком головного платка глаза, бормотала тетя Тоня,— да ить поскоряя хотца... И в хозяйстве помог бы, без мужика-то чижело. А от Кольки пользы как от козла молока — робенок. И Кольку ишо поднимать надоть на ноги... За школу платить, а я с каких вшей уплачу? А мужик у меня, Герасимовна, ох и работяшший, на все руки, и домовитай...

И она принялась расхваливать, какой у нее дядя Иван. Как приглядел ее в деревне сопливой девчонкой босоногой и после кадровой службы в Красной Армии приехал за ней в Юрюзанский район, сосватал, женился честь по чести, а после, уже с Колькой-малышом на руках, в Челябинск увез. Слесарем на ЧТЗ устроился, а она дома хозяйничала. И стали они жить-поживать да добра наживать. Патефон купили, справили ей шубу под котик, боты на красной байковой подкладке и туфли на французском «калбуке», кровать никелированную «варшавскую» с панцирной сеткой приобрели, и стол «под дуб» раздвижной, и «кустюм» Ивану присмотрели, «тройку», а тут — на тебе!— война...

Но ничего, почитай, тетя Тоня не распродала, с голоду опухала, однако вещи, мужниным трудом нажитые, сохранила. Теперь, ежели Иван вернется, а вернется он непременно, то не попрекнет — все на месте, все в целости-сохранности.

— Да уж што и говорить, икономная ты баба, Антонида,— расчувствовалась на похвалу бабка,— хожайштвенная...

А тетя Тоня млела от бабкиного славословия и оглядывалась, ей хотелось, чтобы слова Герасимовны слышали и другие.

Весь разговор, мирный и даже дружественный, я слышал, меняя одну за другой пластинки, часто шепеля-

вые и с заиканиями, под неотступным присмотром тети Тони. А пока голосистая Русланова на всю округу выводила «Окрасился месяц багрянцем» или Козин прощался с цыганским табором и про Любушку-голубушку пел, я усердно точил на дяди Ванином бритвенном оселке граммофонные иголки — работа очень ответственная, ее придирчиво принимал Колян, который в честь праздника и по величайшей моей просьбе доверил мне и заточку патефонных иголок, и сам «концерт».

Я клал на суконный круг все пластинки подряд — «Спят курганы темные» в исполнении Бернеса и нарочито картавый голосок «Дело было вечером, делать было нечего» Рины Зеленой. Дважды прокрутил затертую частым употреблением пластинку с «Калинкой-малинкой». Потом звучала веселая песенка Эдит и Леонида Утесовых, призывающих жить богато, потому что они уезжают «до дому до хаты». Слушая любимые песни, я тоже, как и Герасимовна, припомнил первый день войны. Известие о ее начале меня ничуть не ошеломило, ведь и до этого случались войны — финская, с самураями на озере Хасан. И везде мы легко и быстро побеждали. Такое, по крайней мере у меня, сложилось представление. Да с таким чудо-оружием, как знаменитый пулемет «максим», нам никто не страшен — «разгромим и отбросим врага», не дадим ему «гулять по республикам нашим!». Мне даже весело стало. Когда седобородый старик, отец тети Лиды Богатыревич, озабоченно и встревоженно объявил соседям о нападении германских фашистов и бомбежке Киева, то я закричал: «Ура!»

Старик шикнул на меня и, видя, что я не унимаюсь, радуясь началу «настоящей» войны, погнался за мной с хворостиной. Я понял, что радоваться при нем нельзя, и притих, смиренно подошел к ламповому самодельному радиоприемнику — умница Броня своими руками сконструировал, выставленному на полянку под окном Богатыревичей. Вокруг приемника собралось много соседей: тетя Марина с двумя своими малышами, ее муж дядя

Ваня, сын Герасимовны, красивый весельчак с пушистой шевелюрой, все Богатыревичи, Короеловы: угрюмый и молчаливый дядя Ваня — муж тети Тони — и важный Колька, еще кто-то, и мы, ребятня из всех трех домов нашего двора, целый десяток.

Все молча слушали повторное выступление Молотова. Это было уже неинтересно, и я сбегал домой, набросил, не вдевая рук в рукава, и застегнул лишь на верхнюю пуговицу осеннюю куртку — «бурку», натянул на голову байковый «летчиский» шлем, извлек из-под нашей со Стасиком кровати деревянную саблю и устремился на улицу «громить врага» — с гиканьем, с победными криками «ура!». На сей раз мне никто этим делом заниматься не мешал. Наоборот, Броня Богатыревич, только что закончивший школу и собиравшийся поступать в театральный институт, поощрил:

— Давай, Чапаенок, воюй! Пойдешь со мной фашистов бить?

— Пойду!— закричал я.

И набросился на неистребимого врага — крапиву, наступавшую из-под забора.

Но в последующие дни моя радость от начавшейся войны быстро поубавилась: я наблюдал, как вокруг меня помрачнели и посерьезнели люди, а в смежном дворе, где жил Бобынек, вскоре дико заголосила над пьяно поникшим на крылечке кудрявым смуглым мужем соседка с грудным ребенком на руках. Горе... Оно, чужое горе, меня, честно говоря, не тронуло глубоко, но я присмирел, удивленный этой сценой,— я и прибежал-то туда, привлеченный пронзительным женским воем.

И вот теперь прошло, навсегда исчезло все тягостное, трудное, что вмещало в себя слово «война». Наконец-то мы заживем в полном мире. А Колян вовсе не враг мне... И с этого дня начнется — уже началась!— другая жизнь: без вражды, зависти, обид, обманов... Люди будут любить и уважать друг друга, как родные. Ведь врага-то мы победили, нет его.

Как это я прозевал, не заметил, когда вытащили короеловский раздвижной стол на толстых ножках-балясинах. И чего только не натащили на него! Вареная картошка, чищеная и в «мундире»,— ешь, сколько влезет, лук зеленый бутун, нежная пена укропа, соль, в стаканах налито молоко,— тетя Глаша расщедрилась. А ее дочь Элка из подойника его черпает и, нахмурившись, по плошкам и кружкам разливает. Со всех сторон к столу подступили жители двора, и лишь Бралковых нет. Милочка в малиновом платье с белыми крупными горошинами, с туго сплетенными косичками, как-то озабоченно поглядывает на нас, сидя на крылечке.

— Иди к нам, мила дошь,— зовет бабка.— Не надыть нишего, шама подь шуды, угошшайша...

Милочка стесняется, отводит в сторону глаза. Без разрешения матери, догадываюсь, она не смеет вынести что-нибудь из съестного. Когда Бралкова-старшая готовит еду в кухоньке, то запирает коридорные двери и задергивает на окне занавески, никого не впускает к себе, не отвечает на оклик или стук, будто ее дома нет. О том, что варится или жарится на примусе, а шум его слышен в коридоре, можно по запаху догадаться. Но не всегда, потому что, как правило, мясные блюда хитрая завмаг жарит-парит в большом чугунном, с литыми финтифлюшками, барском камине в комнате. И хотя Бралкова думает, что никто ни о чем не догадывается, соседям известно, что она жует на ужин.

И вот сейчас, когда все, даже тетя Люда Брутова принесла на общий стол невиданное лакомство с непонятным названием форшмак и несколько кусочков белого хлеба, и даже приковылял ее старый муж, человек, которого редко кто видит, он почему-то никогда не выходит из дома, и взрослые сыновья их Волька и Илька вот они, и Нинка Пальцева, задавака и кривляка, красивая, как ее кукла с закрывающимися глазами, заявилась, и ее томная мама с толстой косой до колен, и тетя Марина с большеголовыми Виталькой и Толь-

кой, и моя мама, и Стасик с нею, и остальные жители нашего двора,— одна Бралкова отсутствовала за общим столом, отправилась к своей сестре, живущей неподалеку. А Мила все-таки присела на травку рядом с табуретом, подобрала ноги под платье, и мне от ее присутствия еще отраднее стало, словно она ко мне в гости пожаловала. И только я вознамерился заговорить с Милой, как раздался скрипучий голос Герасимовны:

— Добры люди,— обратилась она ко всем присутствовавшим,— люди добрые. Бог даровал нам победу над ижвергами и укупантами, хвашиштами проклятыми. Это милошть великая божия. Давайте и мы помолимша отшу, шину и духу швятому, аминь...

И она быстро закрестилась, словно боялась, что ее остановят, а вместе с ней и тетя Тоня, и сестра ее, мать Элки, тоже, но как бы стесняясь, втихаря, трижды мелко чиркнула свой живот, а больше никто не пожелал. А тетя Лида с очень грустными глазами посматривала на эту сценку: ее-то Броня уже не вернется...

Герасимовна в пояс всем поклонилась:

— Мы вше братья и шештры во Хриште... Гошподь шкажал: «Любите других, аки шебя, и полушите шарштвие небешное...» Прошти меня, Антонида, прошти меня, Лидья, прошти меня, Егорка...

А я-то почему и в чем ее должен простить? Она ни в чем передо мной не провинилась. Вот я — другое дело. Но я смолчал, не стал встревать в ее торжественную речь.

Пир был в разгаре, и бабку почти уже никто не слушал, и я, сменив иглу, включил утесовскую пластинку, и голос Эдит пронзил уши: «Живите богато, а мы уезжаем до дома до хаты...»

Пока я крутил горячую ручку патефона, на столе уже почти ничего не осталось, но тут тетя Люда мне чайную ложечку форшмака под нос сунула. Я поблагодарил и слизнул с ложки содержимое. Вкуснотища-то какая! Чудо, когда люди любят друг друга! И я опять

увидел Милу, она сидела в той же позе, боком и опершись правой рукой о землю, а в левой держала надкушенный синеватый клубень картошки. Видимо, она не хотела его есть, но и выбросить не решалась. Разумеется, у них кое-что повкуснее найдется, чем картошка в «мундире», тетя Маша — не какая-то там токарь, а — завмаг! И мне подумалось: почему тетя Маша никогда ни на кого не посмотрела добрым взглядом, а всегда с каким-то превосходством и недоброжелательством? Почему? Чего ей еще не хватает, кому завидует? У нее все есть. Что ей плохого люди сделали? Я был бессилен ответить на свой вопрос, потому что вовсе не знал тетю Машу, хотя и виделся с ней почти каждый день. Вот Милочка — другой человек. У нее всегда найдется приветливая улыбка и хорошее, доброе слово. И книжек своих она для меня не жалеет. И если уж всю правду говорить, я с ней даже в куклы играл. Не так давно. Разумеется, я в этом никому не признаюсь, но что было, то было. И я не раскаиваюсь. Ей захотелось поиграть, и я уступил. Хотя игра в куклы, ясное дело, не мальчишеское занятие, но если у нее нет подружек. Может, ей мать не позволяет к себе подруг водить. Милочка вечно чем-то занята: уроки готовит тщательно и долго, не то что я — раз, раз — и готово. Она и стирает, и убирает, и печь топит, и полы моет. Тетя Маша половую тряпку и в руки не берет, из гордости, наверное, что завмаг. Ну, да ладно, чего я завелся, ведь сегодня нельзя друг о друге плохо думать, сегодня же такой день!

Только так я подумал — звякнула щеколдой калитка, и на дорожке, ведущей к нашему дому, показались тетя Маша со своей сестрой тетей Аней.

Сам не знаю, откуда у меня смелость взялась, но я бросился им навстречу и, улыбаясь, потому что во мне все ликовало, пригласил:

— Идите к нам! Мы сегодня все как братья и сестры.

Тетя Маша остановилась первой, широкие и густые брови ее удивленно поднялись.

— С чего это ты взял? Бред какой-то...

— Ладно, пошли, чего всякие глупости слушать,— запинаясь, выговорила тетя Аня, и я заметил, что она пьяна, поэтому и язык заплетается.

Отповедь Бралковой подействовала на меня вроде ковша холодной воды за шиворот. Я отступил с дорожки. Сестры прошествовали мимо стола, сухо поздоровались, но Герасимовна принялась их приглашать, и кланяться, и картошиной потчевать. Тетя Маша отстранила картошку ладонью, а тетя Аня приняла.

Тетю Аню, тогда еще нестарую, и особенно ее мужа, держащего их грудного сына, упакованного в одеяльце, я увидел — и запомнил — в жаркий летний день сорок первого. Его провожали в армию. А он, молодой и кудрявый, пьянущий, сидел на приступке у своего порога и горестно рыдал... Вот это меня и поразило — рыдающий мужчина.

Вскоре, через какие-то считанные дни, возможно, первой в соседях тетя Аня получила «похоронку». Она голосила так отчаянно, что вой был слышен и в нашем дворе. Я еще никогда не видел такого горя. И мне ее было очень жаль. Я никак не мог убедить себя, что тот жизнерадостный с вьющимися черными волосами дяденька — убит, что его уже больше нет. И никогда не будет!

Тетя Аня, не дожевав картофелину, вынула из кошелки большую бутыль, на три четверти наполненную какой-то мутной жидкостью, и стала угощать всех — бабку Герасимовну, тетю Марину, тетю Тоню, ее сестру, остальные, правда, от питья отказались. Бабка же стаканчик опрокинула с видимым удовольствием.

Тетя Маша тоже не пожелала выпить, ушла к себе и Милочку с собой увела.

Бабка, выглотав второй стаканчик, вдруг хряснула им оземь и с воплем, сдвинув платок с седых волос на плечи, пустилась в лихой пляс, раскинув широко руки. Она топала ветхими опорками, кружилась, блаженно гримасничала и хрипло выкрикивала:

— Их, их, их...

Ай да Герасимовна! И где она научилась такие коленца выкидывать!

Я спешно нашел диск с «Брызгами шампанского», безумно веселым танго, но бабка плясала под какую-то свою музыку, да еще и с частушками:

По деревне шла и пела
Девка ждоровенная,
Жадом жа угол жадела,
Жаревела, бедная.
Их-ха!

И на иной мотив:

Пришла куриша в аптеку
И шкажала: «Кукареку,
Дайте пудры и духов
Для приманки петухов»
Их-ха!

Тетя Тоня, подбоченясь, присоединилась к бабке, запела тонко свое:

Раньче были времена,
А таперь моменты,
Даже кошка у кота
Просит кимплименты.

Бабку стало заметно заносить, когда я поставил «Кукарачу». Зато тетя Тоня, а после и сестрица ее плавно и неутомимо кружились по кругу, помахивая воображаемыми платочками.

Залюбуешься, как они величественно танцевали. Я лишь успевал пластинки ставить да переворачивать. Уже и стремительную «Рио-Риту» проиграл, и «Китайскую серенаду», и «Неаполитанские ночи», а неутомимые сестры все кружили на не очень широком пространстве, ограниченном картофельными грядами. Наверное, они еще очень долго могли бы протанцевать, да непонятно откуда возникла Элка в платьице из накрахмаленной марли и в белых носочках. Волнистые после расплета косичек волосы ее были распущены на плечи и спину, а на голове,

бликуя новогодней мишурой, блестело что-то вроде картонной короны.

Тетя Глаша заметила дочь, и их танец прекратился. Элка шепнула что-то Коляну, и тот объявил:

— Танец «Вальс цветов». Исполняет Элла Василькова.

Элка передала ему свою грампластинку, и Колян, отстранив меня бесцеремонно, сам возложил ее на суконку, подув предварительно, чтобы пылинки не осталось. Он и ручку накрутил. Немного обиженный, я отошел от табурета с патефоном и опустился на травку, на то место, где недавно сидела Мила.

Элка, вытянув вперед тощие длинные руки, короткими перебежками семенила туда-сюда, после растопырила руки и стала медленно поднимать и опускать их, будто собиралась взлететь, и одновременно мелко перебирала стопами, как маленькие дети, когда захотят пи-пи. Ну как тут было не рассмеяться! Я прыснул в ладони смехом, столь нелепыми выглядели Элкины движения и позы. Случайно я увидел слева розовое пятно, оглянулся и... Мила стояла в своей кухоньке и из раскрытого окна внимательно наблюдала за танцующей Элкой и грызла ноготок. Ей, наверное, очень хотелось оказаться на месте Васильковой — такое печальное у Милочки было лицо.

Не осмеливаясь пригласить ее, я подошел к тете Тоне, но раздумал к ней обращаться, а тронул тетю Глашу за полную руку.

— Чего тебе?

— Пусть Мила придет потанцует,— сказал я тихо. Но тетя Тоня услышала просьбу и повернула ко мне свое по-прежнему отчужденное, недоброе лицо.

— Не могёт она — беркулез у ее.

— Нет!— выпалил я, обескураженный.

Я знал, что от туберкулеза люди умирают. А я и мысли допустить не мог, что подобное, страшное, угрожает Миле.

— И отец иеный — беркулезник. Потому Марья и разошлася с им,— жестко и охотно разгласила Королова то, что всячески скрывали от всех тетя Маша и Мила. А тетя Тоня вроде бы даже обрадовалась, рассказав о страшной тайне.

«У Милы — туберкулез? Да правда ли это? Бедная Милочка, вот почему она такая бледная и грустная!»— сетовал я про себя.

Беспощадное откровение тети Тони меня оглушило, и я не хотел ему верить. Я жаждал, чтобы Мила была — обязательно!— здорова, чтобы никакие хворости не терзали ее, тем более в такой Праздник.

Я глянул в сторону дома, но в бралковской кухоньке уже никого не увидел.

Праздник... Он сразу померк, и мне стал неинтересен патефон и кипа пластинок, к которым только что испытывал неутолимую тягу.

Наплясавшись вдосталь, Герасимовна уже плакала в широкий подол своего лоскутного сарафана, наверное, по сыну Ивану, и ее успокаивали моя мама и тетя Марина. И это событие еще добавило печали в так славно и светло начавшийся Праздник.

А у меня кто погиб на войне? Неизвестно. Я даже родственников своих не знаю, ни маминых, ни отцовых. Кроме тети Лиды, ее родной сестры, живущей тоже на Урале, в далекой Перми. По какой-то причине мама не рассказывает мне о себе, о своих родителях, о детстве своем, упомянула как-то о бедствиях и голоде, которые терпела, учась в институте. Чуть не забыл — в Заречье, на берегу Миасса, в своем домишке обитает отцова тетка. Хорошая старуха, незлая, но сын ее не попал на фронт, в больнице от голода умер в сорок третьем, о чем она по сей день горюет и охает, постанывая, когда изредка приходит к нам в гости.

А ведь и у меня есть близкий человек, которого убили фашисты,— Нина Петровна Ковалева! Как же это я о ней сразу не вспомнил?

Эту молодую учительницу-практикантку привела в конце сорок третьего в наш класс старая директриса школы Прасковья Ивановна, одетая по такому торжественному случаю в свой лучший костюм и с орденом Трудового Красного Знамени — большая редкость в то время на лацкане жакета. Она представила нам новую «учителку».

Сейчас я о Нине Петровне вспомнил и пожаловался оказавшейся в одиночестве бабке — мне нужно было сочувствие.

— У нас учителку фашисты убили. Совсем. В партизанском отряде.

— Вешная ей память,— откликнулась тут же бабка, уже вдоволь наплакавшаяся и смиренная.— Не забывай ее никоды...

И перекрестилась.

— Героев не забывают,— уверенно ответил я.

— Молода ушительниша-то была?

— Не очень. Как тетя Дуся примерно.

— И-и, не ведашь, что говоришь. Да ить Душка шо Штюркой шовшем девшонки, не шмотри, што ш робенками...

...Пьяненькая, измученная весельем и слезами бабка, неуверенно ступая по земле, поплелась к себе домой, да и остальные незаметно разошлись.

Я тоже было загрустил — в ушах звучал «Весенний вальс», которым я не мог наслушаться, хотя и ставил раз пять, не менее. Меня словно током дернуло: в школу пора!

Я бегу, напевая «Васю Крючкина», по знакомым, тысячу раз преодоленным тротуарам. Встречные прохожие поздравляют друг друга, пожимают руки, обнимаются, а у меня огромная и желанная эта радость затуманилась печальными мыслями о Миле...

В школе царило столпотворение. Первой наш класс поздравила Нина Ивановна Брамова, географичка. Она плакала, не стыдясь нас, и комкала в сухоньком кулачке

кружевной, еще, наверное, дореволюционный платочек.

И все же это было не то, я чувствовал — не то...

Неожиданно раздался резкий и продолжительный коридорный звонок, и мы высыпали, оглушительно галдя, из класса. Во двор, во двор, где состоится митинг. Там уже металась, распоряжаясь, какому классу куда встать, завуч, вся в коричневом и с кружевным жабо, приколотым к плоской груди. Гвалт ребячьих голосов стоял невообразимый, даже галки с высоченной каланчи упраздненной мечети встревоженно снялись и кружили над кишащим школьным двором.

Завуч вынесла настенный портрет Сталина и установила его на столе, прислонив к водруженной на стол же табуретке. Шум пошел на убыль.

А когда директор школы историк Михаил Григорьевич Александрович поднял вверх вытянутую руку, гомон постепенно прекратился. Говорил директор красиво, складно, громко — всем было слышно.

— Победа над фашистской Германией и ее приспешниками была бы немыслима,— декламировал Александрович,— если бы во главе братских народов и непобедимой Красной Армии не стоял великий вождь и полководец всех времен и народов, наш мудрый учитель и отец, вдохновитель и организатор всех наших побед, родной Иосиф Виссарионович Сталин...

Галки, усевшиеся было на минарет, куда много лет не ступала нога муллы, испуганно взмыли ввысь от мощного ора — глоток мы не жалели. И кричали «ура» долго, в свое удовольствие.

Занятия в этот день, естественно, отменили. И все же не митинг и не свобода от уроков должны были стать главным событием дня, этого особого дня. А что же тогда?

— Что дальше будет, как вы думаете?— спросил я друзей, когда мы собрались в штабе.

— Карточки отменят,— сказал Юнька уверенно.— Или пайку прибавят. Хлеба — от пуза, сколь хошь...

— Слыхали? Салют готовят,— поделился новостью Гарешка.— На складе разнюхал...

О салютах мы знали по сводкам Совинформбюро, кинохронике, слышали залпы «из ста двадцати четырех орудий» по радио, но никто из нас этого чуда своими глазами не видел.

— Бежим на склад,— предложил я.

Нам были хорошо известны воинские склады во дворе последнего, углового дома нашего квартала, одной стороной выходившего на улицу Труда. Каменное складское помещение, огороженное плотно сбитым забором, с колючей проволокой наверху, круглосуточно охранялось часовым с винтовкой. Поэтому склад и привлек наше внимание.

С крыш ближайших построек мы наблюдали, как солдаты заполняют ящиками крытые автомашины, и догадывались, что это были за грузы. А когда мы примелькались кладовщикам и охранникам, нам, бывало, разрешали собирать с земли возле складов обломки «макарон» — пороха в виде трубочек толщиной с карандаш. И мы делали из них «ракеты», шнырявшие с шипением по земле — никак не удавалось запустить хотя бы одну, в воздух.

О складе боеприпасов мы никому не рассказывали. Так же, как о мастерских возле школы, где собирали «катюши». Их обычно выпускали из ворот затемно, закрытыми брезентовыми чехлами. «Катюши» тоже были нашим особым секретом.

К складу мы сейчас и устремились, прихватив с собой Стасика, который последнее время водился со своими школьными друзьями-одногодками.

Не сразу удалось нам уговорить подвыпившего старшину, чтобы позволил собрать обломки пороха.

Свой салют мы устроили на острове — подбрасывали как можно выше разного цвета огнем горевшие «макаронины» и орали: «Ура!» И этот фейерверк воскресил в памяти моей давнее посещение елки у отца в конторе.

и загипнотизировавшие меня ослепительные бенгальские огни. И опять мысли мои обратились к отцу, и я порадовался, что скоро, уже совсем скоро увижу его. Он непременно вернется!

Но вот весь порох сгорел, и восторги наши иссякли, и усталость потянула домой. И я подумал: грядущий салют — наверняка то самое, ожидаемое, грандиозное и ни с чем не сравнимое, победное.

— Бежим на салют зырить. Забыл, что ли? Пацаны уже состаились,— позвал я с собой Стасика, и мы рванули гурьбой по Свободе, расцвеченной флагами, свисавшими с домов и ворот. Перевести дух я остановился лишь на улице Кирова.

Ватага наша проследовала дальше, к площади Революции, а я задержался возле центрального универмага. Остановила меня мелодия, хлынувшая из раструба мощного громкоговорителя, висевшего высоко на фонарном столбе напротив трехметровой фигуры улыбающегося, с поднятой в приветствии рукой Кирова на угловом выступе почтамтовской террасы.

Свежая, нежная зелень сквера и яркая голубизна чистого неба, казалось, источали эту музыку: «С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист...»

Не раз слышал я эту песню и раньше, но сейчас она проникла в меня, заполнила и трепетала каждым звуком. В воображении я увидел себя среди бывалых солдат, моих боевых товарищей, на привале, у лесной опушки. И сам я — усталый, со скаткой за плечами, с винтовкой, снайперской, с оптическим прицелом, зажатой меж колен, кручу цигарку и улыбаюсь: войне конец! Отвоевались, ребята! Теперь все тяготы походов позади, больше не разорвется ни один снаряд, не бахнет ни одна бомба, не треснет ни один выстрел... Хорошо! Как хорошо-то! Жить да радоваться!

И тут бухнул залп, я повернул голову направо и увидел в слегка вечереющем небе, невысоко, желто-красно-зеленый с белыми огнями осыпающийся букет с серыми дымовыми стеблями.

Моментально стряхнув с себя мечтательное оцепенение, я рванул вслед за ребятами, но не настиг и не сразу разыскал их в густой шумной толпе, затопившей обширную площадь.

Солдаты палили из ракетниц под восторженные выкрики окруживших их, а мы хватали с земли горячие, дымящиеся картонные патроны с медно-красными задниками и ярко-желтыми смятыми капсюлями.

Это было здорово, когда в голубом небе вспыхивал яркий белый, желтый, малиновый или зеленый цветок и повисал над нами, медленно приближаясь к земле, и мы напористо проталкивались к тому месту, куда, по нашим предположениям, мог упасть недогоревший снаряд. А где-то в районе входа в горсад бухала пушка, и не букет, а волшебный фонтан многоцветных брызг возникал, захватывая полнеба!

Толпа, запрудившая площадь, взрывалась тысячами голосов, среди которых выделялись пронзительный женский и мужской бас. То тут, то там над головами подбрасывали людей в военной форме. Такого беспредельного веселья мне не приходилось видеть нигде и никогда.

И мы кричали что есть силы: «Ур-р-р-а!» И Стасик, и Гарешка, и Бобынек, и я, взявшись за руки, плясали вместе со всеми, притопывая босыми пятками по булыжникам.

— Бежим в горсад, где пушка шмаляет,— предложил я, и друзья тотчас со мной согласились.

Пустырем, теперь тоже заполненным прущими навстречу нам людьми, мы добрались до горсадовского забора, возле которого несколько солдат дрались с какими-то парнями. В одном из них я узнал свободского ворюгу Леху. Он показушно держался за задний брючный карман и вопил, отступая от наседавших солдат:

— Отыди — перешмаляю! Всех перешмаляю!

И рыгал отборной тюремной матерной бранью.

Но мы не остановились, чтобы узнать, чем кончится

драка, а перелезли через высокий забор и по березовой аллейке жиманули к дому, где размещалась жуткая коллекция восковых органов человеческого тела, пораженных различными опухолями и язвами. Как туда, в горсадовский домик, предназначенный для служащих, попала эта коллекция — до сих пор не могу сообразить, но она существовала, и ее показывали всем желающим за небольшую плату, дополнительную к входным билетам, которых мы никогда не покупали.

Чутье не подвело нас, точнехонько на площадке возле дома стояла, задрав ствол, пушка, из которой и жахали в небо «букеты» и «фонтаны». Но нас и близко к ней не подпустили солдаты.

Потолкавшись поодаль, мы решили возвратиться на площадь — там было веселее и могло перепасть что-нибудь. У меня за пазухой уже перекатывались четыре черные внутри от пороховой гари гильзы и одна, похожая на огарок толстой свечи, недогоревшая ракета. Уж как мы ее потушили, секрет.

Ликование на площади продолжалось вовсю. Народ все прибывал. Часть прилегавших к ней улиц имени Кирова и Цвиллинга тоже оказались закупоренными гигантскими людскими пробками. Над обширнейшей территорией громыхал голосами дикторов и обрушивался ниагарой мелодий мощнейший радиорепродуктор, не заглушаемый хлопками ракетниц и уханьем пушки. Казалось, конца не будет этому волшебству по имени Салют...

Рядом, впритирку, стоял Илька Жмот, за ним — с ехидной ухмылкой — Колька Муравьедов. Неприятная встреча.

И тут из толпы штопором вывернулся Венка Гундосик, с замурзанной, давно не мытой мордашкой и в объемистом, обвисшем на костлявых плечах щегольском синем пиджаке, явно чужом. Гундосик вплотную приблизился к Ильке и что-то вынул из-под полы пиджака, какой-то пакет. Илька сунул его себе за пазуху, озираясь вытаращенными глазами.



— На пропале будешь стоять?— спросил он меня и, оттопырив ворот рубашки, показал черный, с потертым углом кожаный бумажник.

— Ленчик щиплет, уже полтора куска натаскал,— похвастался Венка.

— Какой Ленчик?— спросил я.

— Залетный. Из Питера,— похвастался Венка.— Гастролер...

Илька считал деньги, вынимая их горстями из-за ворота, и рассовывал по карманам. За его руками завороженно следил полоротый Вовка, старший Венкин брат, которого и по имени никто не зовет, а все Бобкой кличут, словно беспризорного пса.

А тут и сам «залетный», сам Ленчик будто из-под земли вывинтился — в шевиотовой кепочке-восьмиклинке, надвинутой на глаза, в новой синей косоворотке.

— Сколь я у этого галифе сдернул?— поинтересовался он у Венки.

— Полкуска с лихом,— ответил за него Илька.

— Ништяк,— довольный, произнес залетный, улыбнулся, обнажив фиксу, и снова куда-то нырнул вместе с Муравьедом — как не было...

Вот так встреча! Ну и гад! В такой день, в такой великий праздник он по карманам шарит!

— Илька, вы что творите?— наступал я на Жмота.— Кого обворовываете? Они же нас от фашистов защитили...

— Замозолчизи,— огрызнулся на тарабарском языке Жмот,— азатозо гляделки Лезенчизик вызырезежет.

— Чихал я на твоего Ленчика,— распалился я.

— Идем,— потянул меня за рукав Юнька.— Не связывайся...

— Все равно их милиция поймает,— успокоил меня Гарешка.

— Да... но мы-то видим и молчим,— возразил я.— Получается, что и мы как будто с ними заодно.

— Сказанул, тоже мне,— не согласился Юнька, обидевшись.— Мы совершенно другое — сами по себе.

— Мож быть, домой пора?— спросил Гарешка.— А то потеряют...

— Еще немножко посмотрим,— попросил Стасик.— Когда еще такое увидишь? А что они стащили?

— Не видел, что ли?

— Не...

Я не стал ему ничего пояснять. И мы еще какое-то время толкались в поредевшей толпе, по-прежнему встречавшей каждый выстрел восторженными возгласами.

Каждый из нас знал, что наше время давным-давно истекло. Уж и светлая тихая ночь незаметно сменила бурный вечер, а Стасик все не мог насытиться салютом Победы и не желал возвращаться домой, и это меня беспокоило и раздражало.

Но вот по улице Цвиллинга мы скатились вниз, и я, преодолев усталость, вместе со всеми миновал скверик, свернул на улицу Карла Маркса, на свою Свободу...

Необъятный, в моих ощущениях, раздувшийся, как воздушный шар-монгольфьер, день закончился. Я чаял его получить, как дар, насыщенный сплошными радостями, и, похоже, все сбылось, если бы не эти гады... В самый такой день — 9 Мая 1945 года.

Однако напрасно я подвел итог событиям, необыкновенный день не завершился — дома нас ждало еще одно огорчение. Мама встретила нас встревоженной и сердитой.

— Что же вы так долго? А я уж бог знает что о вас подумала: где вы, что с вами?— упрекнула она меня в сердцах.

Всегда мне, как старшему, первому влетает.

— Вас видели на площади с какой-то шайкой,— продолжала мама строго.— Что вы там делали?

— Салют смотрели...

Меня больно обидел мамин пристрастный допрос, да еще с явным недоверием. Она прямо-таки настаивала на признании в том, чего мы не совершали и не намеревались даже.

И мы вынуждены были с братом доказывать, что ничего общего у нас, тимуровцев, с той кодлой не было и быть не могло.

Мама не сразу успокоилась, но в конце концов поверила, покормила нас, уложила спать и, пока мы не уснули, сидела возле изголовья кровати, дожидаясь, когда сон сморит нас, и думала о чем-то своем, наверное, очень трудном, потому что тяжко вздохнула.

— Кто же это нас видел?— думал я.— Уж не тетя ли Тоня подглядела? Она любит за другими подсматривать и доносить.

И все меня не отпускала эта встреча с залетным и его компанией. Перед глазами всплывали моменты встречи, бумажник с белесыми углами, пухлый от документов и денег. Как теперь тот, в галифе, без них обойдется? Ведь без документов и денег совсем пропасть можно, еще подумают — шпион какой... Много проблем возникло в усталой моей голове. Но сон был сильнее размышлений. Последней моей мыслью явилась заветная: здорово, если б завтра папа с фронта возвратился... Он все знает, во всем разберется. Одно слово — отец!

Мне, как это ни странно, ничего не приснилось, не только цветной салют, но и обыкновенный серый сон. Вот-вот должно было наступить завтра — первый послевоенный день.

7 Заказ 316



ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Мы с братишкой долго бродили вокруг огромного квадрата заграждений из кое-где порыжевшей и пачкавшей руки колючей проволоки, и часовые перестали обращать на нас внимание — много разного люда топталось возле огороженного цирка, недавно превращенного в казарму.

Помещение цирка было мне знакомо, до войны мы довольно часто, по воскресеньям, всей семьей ходили на веселые представления. Особенно мне запомнились дуровские дрессированные звери, акробаты и клоуны. Теперь же здесь учились мастерству воевать с фашистами призывники, и в их числе наш отец.

Мы сами видели два дня назад, как он в строю взвода промаршировал в открытые, проволокой же затянутые ворота. Странно, однако, что он не заметил нас, ведь мы бежали рядом до самого КПП и азартно кричали: «Папа! Папа!» И хотя перепоясанный ремнями командир, шедший сбоку, сердито махнул на нас рукой, мы продолжали неустанно выкрикивать это слово, тщетно пытаясь привлечь внимание отца, громко, вместе со всеми певшего:

Дальневосточная! Смелее в бой!..

Мы, при первой же возможности, проходными дворами помчались на площадь Павших, посредине которой грузно возвышалось, пожалуй, самое большое в городе

деревянное здание со сферической крышей. Но подходы к нему со всех сторон были перекрыты — не прошмыгнешь, не перелезешь. Да и вооруженные часовые под дощатыми грибками по углам зоны отгоняли, грозя пальнуть. «Стой! Запретная зона»,— предупреждали фанерки с чернильными потеклыми надписями на столбах запретки.

А мы упорно рыскали возле зоны, соображая, как в нее пробраться.

— Идем еще попросимся,— предложил Стасик, которого я по давней привычке держал за ладошку, таская всюду за собой.

— Бесполезняк. Опять гайнут от кэпэпэ... Да еще по шее накостыляют. Один путь — через запретку.

— А проволка? — недоверчиво спросил брат.— С колючками вострыми.

— А мы — по-пластунски. Как на фронте. Земля-то — заметил? — рыхлая. Ее можно и грабками разгрести.

Братишка поколебался секунду и согласился:

— И я с тобой.

Я кивнул: ему, чай, тоже хочется отца повидать.

В моем легком воображении мгновенно возникла картина, как мы проберемся в зону, лишь бы часовой не засек. Я отметил про себя, что иногда один из часовых покидает свой пост, тот, что ближе к КПП. Надо лишь дождаться такого момента — и... А уж отца-то мы непременно разыщем, пусть в цирке окажется даже тыща красноармейцев.

Что отец делает сейчас? Наверное, пулемет «максим» разбирает на части, смазывает и снова ловко и быстро собирает. «Товарищ командир, пулемет к бою готов!» — «Молодец!»

И тут я, как бы переключившись из воображаемой обстановки в действительность, замечаю, что под тем самым грибком, что ближе к КПП, пусто. Вот это удача! Я взялся за проволоку — боязно! Вдруг другой заметит и бабахнет? В меня-то он едва ли попадет, а вот Стасик,

он не такой шустрый. Но желание немедленно увидеть отца вытеснило последние колебания, и я командую братишке, почему-то шепотом: «Ложись!»

Место мне показалось вполне подходящим — посредине от сторожевых грибков и самое близкое к округлой цирковой стене.

Повернувшись набок, я приподнял над собой нижнюю проволоку, развернулся по часовой стрелке, пропустил вперед Стасика, на животе подполз ко второму ряду колючки, проделал тот же маневр.

— Не поднимайся,— приказал я Стасику.— За мной!

Извиваясь телом в нагретой солнцем пыли, мы приблизились вплотную к стене и лишь тогда распрямились и огляделись.

Часовой маячил только под одним грибком, почти спиной к нам, поэтому мы не спеша направились вдоль стены в сторону КПП, так же крепко держась за руки. Никто из встречных нас не остановил, даже не окликнул, и мы вошли в цирк через центральный вход и проем, некогда закрытый плюшевым занавесом, и уперлись в барьер манежа. На манеже, застланном дощатыми щитами, стояли несколько столов, стульев и скамеек. На столах, действительно, лежали учебные винтовки, противогазы, а на скамьях сидели стриженые, похожие друг на друга, молодые и постарше красноармейцы в вылинялых гимнастерках и штанах, в черных обмотках и ботинках, все они мне почему-то показались с длинными худыми шеями, и я подумал, что их, наверное, недавно выписали из больницы.

— Зырь-ка, Гер, гранаты! Настоящие! — разглядел Стасик стенд с прикрепленными к нему проволочками «лимонками», причем одна была распилена вдоль.

Братишка тянул меня к стенду, за барьер, а я решил: успеем еще, насмотримся. А сейчас надо отца разыскать. Среди тех, кто сидел на скамьях, его не было.

Один из столов, накрытый куском красного материала, привлек мое внимание больше, чем остальные, хотя

на нем и не было оружия, а лежали какие-то бумаги. Зато за этим столом сидел старый, как мне тогда показалось, командир с какими-то блескучими, начищенными значками на груди темно-зеленой гимнастерки и тремя шпалами в петлицах. Он беседовал с другим командиром, помоложе и имевшим всего одну шпалу.

— Стой тут, я сейчас,— наказал я братишке и перемахнул через барьер.

— Товарищ командир,— звонко выкрикнул я, волнуясь, обратившись к тому, что старше.— Скажите, пожалуйста, как нам найти нашего папу?

Командир с недоумением взглянул на меня и подошедшего следом брата.

— А как фамилия вашего отца?

Я назвал.

— Он такой большой,— добавил Стасик и показал рукой, вытянутой над головой, какой высокий наш отец.— Он красноармеец.

— А кто вас сюда пропустил? — старый командир задал этот вопрос обыденно, спокойно, вроде бы между прочим.

— Никто. Мы сами,— ответил я без опасения, честно. Да и чего было нам опасаться?

— Через проходную? — продолжал осторожно допытываться командир.

— Не-ка,— сказал Стасик.— Под проволкой пролезли.

Командир оживился, в глаза брату заглянул.

— А где? В каком месте?

— А там,— охотно откликнулся Стасик и показал рукой, правильно показал, направо.

Старший командир переглянулся с младшим, но до меня смысл того взгляда не дошел.

— А вы нам покажете папу? — осмелел братишка.

— Вызвать дежурного,— приказал старший командир молодому, и тот гаркнул на весь цирк, аж под куполом аукнулось:

— Дежурного к комиссару полка!

— Лейтенант,— равнодушным тоном обратился комиссар к подбежавшему к нему дежурному.— Пригласите-ка сюда Ивана Яковлевича.

— Отца Алексеем Михайловичем зовут,— поправил я комиссара, но тот никак не отреагировал на мое замечание.

— А вы, кстати, потрудитесь выяснить о рядовом Долгове, Алексее Михайловиче.

— Так как вас звать, разведчики? — шутливо поинтересовался комиссар.

Я, обрадованный, принялся рассказывать о себе и Стасике и совершенно не заметил, как подошел к столу и сел рядом с комиссаром старший лейтенант. Я поперхнулся, когда встретился с его тяжелым и пристальным, как мне показалось, «черным» взглядом, хотя глаза у него были светло-карие.

— Это по вашей части,— сказал комиссар внимательно изучавшему нас старшему лейтенанту — три кубаря были в его петлицах.

Мне так неуютно стало под его взглядом, что я поежился и прижал к себе братишку.

Тот, кого комиссар назвал Иваном Яковлевичем, предложил мне снова рассказать, каким путем мы попали в расположение части, и я охотно повторил. Старший лейтенант слушал, не спуская с меня давящего взгляда.

Не сразу, но отца все-таки разыскали, и он предстал перед нами — руки по швам, отрапортовал:

— Красноармеец Долгов по вашему приказанию прибыл!

— Вы детей сюда вызывали с какой целью? — как бы равнодушно спросил комиссар.

Отец взглянул на нас какими-то почти безумными глазами и отчеканил:

— Никак нет, товарищ полковой комиссар, я их совсем не вызывал.

Старший лейтенант молчал, слушая.

В этот миг Стасик приблизился к отцу, шестилетний, исхудалый, тоже стриженый мальчонка, и взялся за его руку.

Но отец не шелохнулся, не ответил на прикосновение Стасика, а уставился на вроде бы пробегавшего взглядом какую-то бумаженцию комиссара.

— Ваш папа подсказал вам, как можно незаметно проникнуть в запретную зону? — с напором спросил у брата старший лейтенант.

— Нет,— поспешно ответил я за Стасика.— Да нам и поговорить-то с ним не было возможности — он ведь в строю пел.

— Пел? — почему-то переспросил старший лейтенант.— А какую песню он пел?

— Непобедимая и легендарная! — тонкий голосишко мой зазвенел, отражаясь под куполом.

— Хорошо,— заулыбался комиссар.— Достаточно. А теперь повидайтесь с отцом. Товарищ боец, побеседуйте со своими сыновьями. Только недолго! В вашем распоряжении,— он взглянул на циферблат ручных часов,— восемь минут. Через восемь минут возобновятся занятия.

Я, обрадованный, кинулся к отцу, но он все еще не оторвал взгляда от комиссара, словно ожидал еще какого-то распоряжения.

— Можете идти,— видя его нерешительность, доброжелательно позволил комиссар.

Мы отошли к округлому барьеру, и только сейчас я рассмотрел, что все места на ярусах-рядах заняты постелями, заправленными серыми и рыжими одеялами, но лишь кое-где отдыхали красноармейцы. Возможно, это были хворые или отдыхавшие после дежурств.

Я почувствовал себя счастливым — нам разрешили пообщаться с отцом! Столь близко я не видел его с декабря прошлого, сорок первого года, когда мы проводили его, хмельного, в военкомат.

— Зачем пришли? — тихо, со сдержанной сердито-

стью, а может быть, и с гневом спросил отец, и меня словно током дернуло. Но внутренне ликование еще переполняло меня.— Геряй, я тебя спрашиваю...

А Стасик карабкался к отцу, и он взял его на руки, и брат сразу обнял его за шею.

— Хотели тебя повидать,— сник я.

— У тебя пулемет есть? — встрял Стасик.— Покажь нам свой пулемет.

— Вот что, Геряй, идите-ка домой. А то мать потеряет вас. И больше сюда не приходите, мне из-за вас неприятности могут быть. Понял, Геряй?

— Ага,— произнес я, хотя не мог уяснить, почему и какие неприятности могут быть нашему отцу из-за того, что мы с братом придем проведать его ненадолго. И командир у него, этот старый комиссар, вон какой добрый.

— Ну вот, давайте бегите.

И, поставив Стасика на пол, он слегка шлепнул его меж лопаток, выпрямился и, крупными шагами подойдя к столу, застланному кумачом, громко спросил:

— Товарищ полковой комиссар, разрешите идти для дальнейшего исполнения служебных обязанностей!

— Идите,— приветливо ответил комиссар.

— Слушаюсь,— отчеканил отец, лихо повернулся и снова приблизился к нам.

— Геряй, иди и поблагодари комиссара. А Павловне передай, чтобы еды принесла. Перед отбоем, часов в девять. И больше близко к части не подходите, поняли?

Я кивнул в знак повиновения. Радость встречи убывала с каждым ударом сердца. Отец повернулся и удалился в проем под оркестровой ложей, откуда обычно появлялись, выбегая на арену, артисты и звери. И только он скрылся, как к нам подошел старший лейтенант, тот, которого пригласил комиссар, и сказал деловито:

— А теперь, ребята, покажите место, где вы проникли на территорию войсковой части.

Я все еще думал о встрече с отцом, и в душе у меня

возникла сумятица, поэтому предложение командира принял безоговорочно.

Конечно же, мы сразу нашли то место, и командир заставил нас показать, как нам это удалось — пролезть под проволокой. Мне, да и Стасику тоже это предложение понравилось, и мы охотно проделали все, как было, только — из зоны на площадь.

— А сейчас идите домой,— приказал нам стоявший по ту сторону запретки старший лейтенант с какими-то молчаливыми спутниками — военными.— Вы где живете?

— Тут, недалеко, по Свободе,— ответил я.

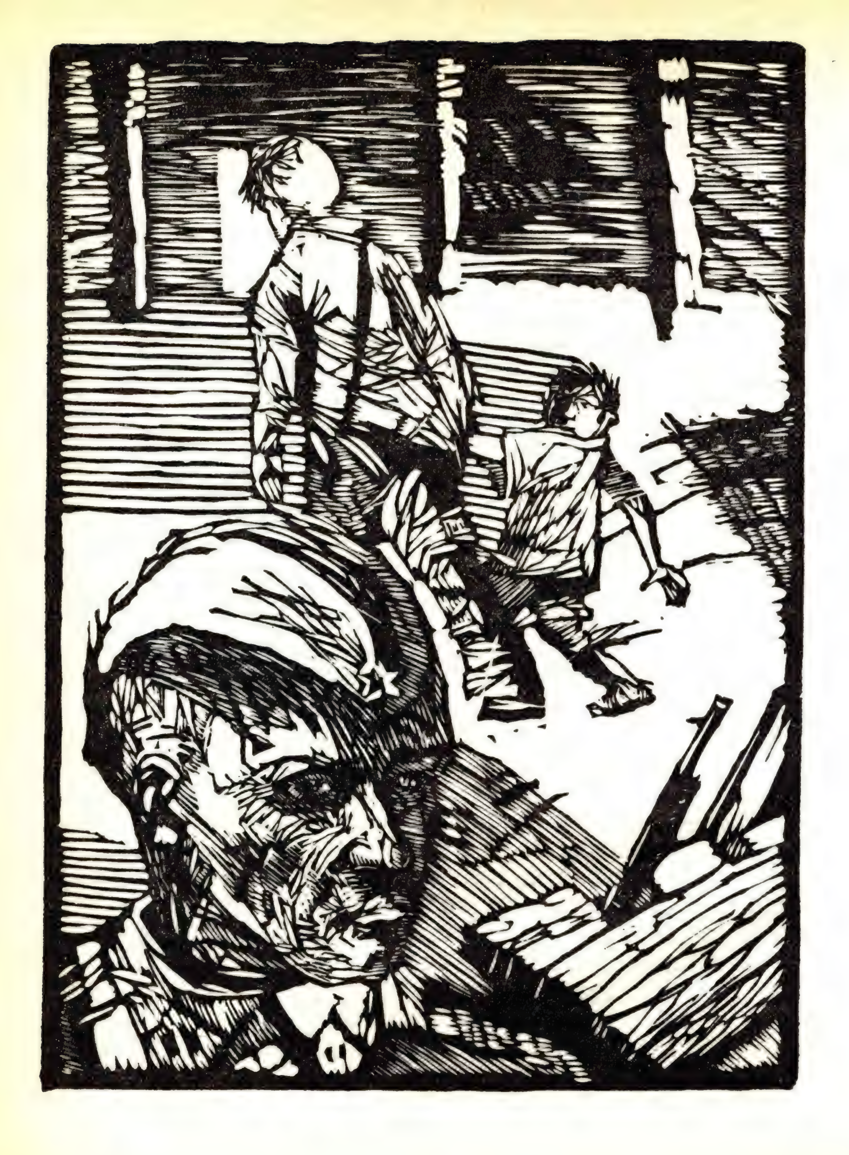
— И больше не подходите к запретной зоне — часовой вас может застрелить. Уяснили?

— Так точно,— ответил я.

Мы побрели вдоль проволочных заграждений. Стасик опять принялся у меня выпытывать, куда ушел папа, и отпустят ли его домой, и можно ли ему будет взять с собой гранаты, чтобы он, Стасик, их смог хорошенько рассмотреть и потрогать. Пока я растолковал ему все по порядку, мы поравнялись с грибком напротив КПП. Там происходила смена часового. Прежний часовой отдал другому красноармейцу винтовку, а еще один держал в руке его поясной брезентовый ремень. Мы остановились поглазеть. Смененный часовой взглянул на нас как-то необычно. Нет, он посмотрел без злости, но с какой-то внутренней болью и досадой, я это лишь отметил, но никак не связал с тем, что произошло ранее с нами — с ловким проникновением в зону и показом наших пластунских способностей.

Втянув голову в плечи, смененный часовой поплелся к входу в цирк, за ним красноармеец с двумя винтовками, рядом еще один, и всю эту процессию замыкал тот старший лейтенант — сейчас на нас со Стасиком он не обратил внимания.

— А ну кыш отсюда, стервецы! — рявкнул на нас вновь заступивший красноармеец и, клацнув затвором, направил на нас ствол.— Ш-ш-пана...



Мы отбежали к зданию школы-госпиталя, оглянулись. Часовой не спускал с нас глаз и погрозил кулаком.

— Чего он окрысился? — спросил я вслух сам себя.— Злой какой...

А Стасик мне задал вопрос, на который я не смог ответить:

— А почему нас от папы выгнали? Почему не пускают? Ведь он — наш папа?

— Наш-то наш, да нельзя.

— А почему нельзя?

— Служба у него такая, секретная. Понимаешь? — придумал я.— Поэтому и зона — запретная.

— Ага. Понимаю,— сказал братишка и успокоился. Не знаю, что он понял, но я не мог уразуметь, почему нам запретили посещать отца.

Мы, снова радостно возбужденные, примчались домой и рассказали маме о нашем приключении и о приглашении отца. Мама, отругав нас за самовольство и строго-настрого запретив тащиться за ней, сварила для отца картошки, еще что-то положила в кастрюльку и ушла на свидание.

В тот вечер мы не уснули и дождались возвращения мамы. Пришла она не в духе и не стала нам объяснять ничего. Лишь на следующий день мы узнали, что ей не удалось повидаться с отцом. Мама много раз потом ходила к зоне, пока не разузнала, что на другой день после нашего посещения отца срочно перевели в Шершневские летние лагеря. В них-то вскоре мы и совершили — всей семьей — паломничество, целый воскресный день провели с отцом и после, ночью, шли по лесу через Митрофановское кладбище. Жутко-веселые остались от этого возвращения впечатления, но об этом другой рассказ. А этот я, пожалуй, закончу вот чем: вскоре после похода в Шершни мы получили первое письмо с обратным адресом: «Полевая почта» — отец писал из-под Сталинграда, с передовой, уверяя нас, что здоров, чувствует себя хорошо, воюет и скоро вернется с Победой.



ВОДОЛАЗКА

— Жавтра на Подгорной кошти выброшат,— почти шепотом зажужжала Герасимовна, приблизив свои губы к уху моей мамы.— В киошке. От верного шеловека шлышала. Штаруха одна. Вожля колбашного жавода и живет.

С заговорщическим видом Герасимовна озабоченно зыркала по сторонам, словно опасаясь, не подслушал бы кто. Меня ее поведение изрядно удивило: здесь, на общей кухне, кого она опасается?

— Егорка пушшай утрем пораньше прошнетша, да вмеште и пойдем, ш богом...

«Не с богом я отправлюсь за костями, а с корешами,— решил я.— Богу кости ни к чему».

Перед сном я очень удачно успел обежать друзей — Юньку Бобынькова и Гарика Кулеша — и поделился с ними бабкиным секретом.

— Утром с Валькой собрались на поле,— деловито сообщил Юнька.— Картошки окучивать. Вот уж и тяпки наточил.

— Эх ты. От костей отказываешься. А вдруг с мозгом попадутся?

Юнька заколебался.

— А не свистит твоя бабка? — усомнился он.

— Да ты что! Бабка — честная.

— Божись.

— Во! — Я прикоснулся пальцем к звездочке на своей тюбетейке.— А на картошку мы вместе, послезавтра, чесанем. Ну?

Немногословный Гарешка согласился не раздумывая — фартовый случай, не часто выпадает.

— А что мы из тех костей сварим? — поинтересовался я у мамы, уже лежа в кровати.— Борщ?

О вкусном, наваристом борще со сметаной я уже давно подумывал.

— Зеленый суп. Молоденькой крапивы нащиплешь, ботвы свекольной аккуратно нарвешь, морковки покрупнее, вот и получится суп на славу,— посоветовала мама. И посетовала: — Картошка еще не подросла — один горох. Не трогай.

«И без картошки сойдет,— подумал я.— С костями-то».

Мама разбудила меня — солнышко лишь наполовину высунулось из-за крыш.

Обвеваемый утренней сыростью, по холодным булыжникам улицы я пробежался до Юньки и Гарешки, и мы по безлюдной Свободе припустили к реке.

Обнесенный зеленым высоким забором, по ту сторону которого хрипло и грозно брехали цепные псы, колбасный завод, так все называли мясокомбинат, выглядел неприступным и опасным. Посредине забора, у совершенно незаметных, закрытых изнутри ставней собралась немая неподвижная очередь из стариков и старух, начавших бдение, вероятно, еще с ночи.

Тут же, в дорожной пыли, втихомолку играли две или три маленькие девочки. Тоска какая-то!

Мне на наслюнявленной ладони химическим карандашом вывели номер «37». Герасимовна, обогнавшая нас, привела с собой большеголового внука Витальку, чтобы получить лишний номер. Малыш спал, положив рахитичную голову ей на колени, обтянутые широкой и длинной юбкой, сшитой из разноцветных ситцевых лоскутков.

На выцветшем светло-голубом небе ни тучки. Как под таким солнцем усидишь возле закрытых ставней киоска? И уйти нельзя — а если пересчет? Решили: оставляем в очереди дежурного, остальные — купаться. Миасс рядом. Стремглав с пригорка вниз — аж пятки к затылку подбрасывает. На ходу скидываю тюбетейку, рыжевато-белесые трусы, ветхую майку и — бултых!

Во все стороны серыми стрелками с невероятной скоростью скользят мальки речной рыбешки.

Ах, Миасс, отрада наша! Без оглядки, наперекор течению, что есть сил гребу на середку — с азартом! И брызги от бултыханий ногами зеркальными осколками слепят, и весело так, что забываешь обо всем на свете, о многочисленных заботах и обязанностях — свобода! Помнишь лишь о номере на ладони.

Остров-сад остается слева, течение все дальше относит меня к Чегрэсу. Пора возвращаться назад.

Подплывая к желанному берегу, я заметил неподалеку в водной ряби черную собачью голову. Животное плыло мне навстречу. Увидев меня, собака резко развернулась и еще резвее зачапала лапами по поверхности воды, устремившись к берегу. Я — за ней. Но рука...

Мы выучились плавать, держа одну руку над поверхностью воды. Ее нежелательно было мочить: на ладони написан порядковый номер — право на получение того блага, ради которого вынуждены мы проводить томительные часы ожидания в длиннющих очередях.

То ли я уже изрядно выдохся, то ли собака оказалась более выносливой пловчихой, но она первой выбралась на илистый берег, положила на землю что-то сизо-розовое, свисавшее из пасти, оглянулась в мою сторону, отряхнулась всем телом, исторгнув веер радужных брызг, снова подхватила это «что-то» и зарысила прочь, к овражку.

Я истратил так много сил, что колени подсекались, когда выбрался из реки. Мне бы бухнуться на траву да отдышаться, подставив грудь горячим лучам, но любопытство: что это за собака, какую штуковину она несла

в зубах и куда скрылась? — заставило меня шустро натянуть трусы и ринуться вслед за ней.

Столкнулись мы неожиданно. Собака с лаем выскочила из глиняного выкопа, их здесь было немало, мелких и настолько глубоких, что можно свободно уместиться вдвоем-втроем — в овражке окрестные жители брали глину для штукатурки домов и кладки печей. Я сам отсюда дважды привозил в корыте прекрасную глину — ремонтировать кухонную плиту.

Вид у собаки был настолько свирепый и решительный, что я отступил, не повернувшись, однако, к ней спиной, чтобы не вцепилась.

Что она — взбесилась? И тут я заметил возле норы растерзанный лоскут каких-то скотских внутренностей!

Вот оно что! До чего же умная псина! Вылавливает куски кишок и всякие другие мясные отходы, которые со стоками из огромной железной трубы сбрасывались в Миасс. Ту трубу мы изучили хорошо. По ней можно от берега отойти к середине реки на несколько метров и нырнуть сразу в глубину. Вот почему вокруг этой трубы под камнями водилось так много раков — они лакомились всякими отбросами из цехов колбасного завода. Иной раз мне удавалось натаскать клешнятых полную двухлитровую кастрюлю — на зависть многим, промышлявшим у речки пацанам. Да и взрослым. Поэтому, из-за раков, я и нырять научился, и натренировал себя задерживать дыхание, перегоняя воздух в легких, не выдыхая его до последней возможности терпения. Я до того преуспел в нырянии, что под водой пересекал поперек весь Миасс — со свободской стороны до острова, чем чрезвычайно гордился. И обоснованно — никто из однокашников не мог побить моих рекордов. И по количеству отловленных раков — тоже.

Правда, иной раз и такое случалось: рак сдавливал клешней палец до крови. Но приходилось и на это идти и терпеть боль — варенные с солью раки жуть как вкусны! А пальцы все равно быстро заживали.

У меня давно имелась думка — сделать маску, соединить ее шлангом с надутой воздухом автомобильной камерой и с помощью этого аппарата обследовать дно Миасса, высмотреть все норы, где живут раки, лини и великаны сомы. Надеялся я и на гораздо большую удачу — наткнуться на клад. Мало ли что могли сокрыть в Миассе в давние годы, например во время Революции. Буржуи и всякие белогвардейцы наверняка схоронили на дне золото, патроны, возможно, и пушку. Словом, меня ждали несомненные находки.

И кое-что для подводных работ мне удалось раздобыть. В сарае я хранил рваный противогаз с гофрированным шлангом, привинченным к жестяной коробке с угольным фильтром. Выменял я немного дырковатую, с заплатами, автомобильную камеру с никелированным нипелем и навертывающимся колпачком. Все это бесценное добро мне предстояло привести в порядок и осуществить свои водолазные задумки.

Была у меня и еще одна дерзкая мысль: построить подлодку. И для этого я тоже кое-чем обзавелся: за двух крольчат породы шиншилла мне дали круглое, с тарелку величиной, стекло из плексиглаза. Чем не иллюминатор? Я уже и название будущей подводной лодке подобрал: «Наутилус-2». Достойное имя.

О моих планах исследования неизведанных миасских глубин знали только ближайшие друзья. А вообще-то строительство подлодки держалось в строгом секрете. О ней не ведал ни Стаська, ни Ржавец, и, разумеется, никто из взрослых — чтобы не помешали.

«А что, если собаку научить нырять,— пришло мне в голову после встречи в овраге,— такой ценный помощник незаменим. Собака-водолаз — это же здорово! Дрессировщиком буду сам».

Решено: немедленно знакомлюсь с собакой-водолазкой поближе и приступаю к ее обучению для подводных погружений.

О своих планах я тут же, на берегу, увлеченно пове-

дал Гарику. Они его заинтересовали. Но мы услышали призывы Юньки и сиганули наверх.

Счетчица, она же наблюдательница, поначалу не пожелала поставить нам новые номера. Причина? Наше «непостоянное присутствие». Но Герасимовна громко вступилась за нас, другие молча не поддержали счетчицу, и мы продвинулись к цели. Я стал тридцать четвертым.

Трое неудачников вынуждены будут встать позади нас. Что ж, таковы правила игры, называемой «живая очередь».

Мы с Гарешкой потянули былинки, короткая досталась мне. Мои друзья, радостные, возвратились на берег, а я остался сторожить очередь и продолжал думать о собаке. Чья она? Или ничейная? Захочет ли она со мной дружить? Угостить бы ее чем-нибудь для начала знакомства, а то она может обо мне плохо подумать. Какая-то она недоверчивая и злая. Однако не напала на меня. Другая могла бы и куснуть. Хотя собак я не боялся, и они редко осмеливались по-настоящему преследовать меня.

Чем же все-таки ее угостить? Трудный вопрос. Костями из будущего супа?

Следующий пересчет изрядно задержался — наблюдательница домой завтракать ушла. Я истомился в ожидании. Уже и Юнька наведывался узнать, не случилось ли чего. Вскоре после него появился Гарешка и вызвался за меня добровольно додежурить оставшееся до проверки время. Друг!

Солнце, ослепительно-раскаленным шаром закатившись на небесные высоты, так жарило, что лопухи повяли, опустив к земле теплые, обмякшие листья.

Искупавшись наскоро, я заморил червячка. Заботливые друзья сварили в большой консервной банке раков, ими-то я и позавтракал. И принялся усердно нырять, чтобы добыть новых. Наловил. Десятка два.

Дрожа от озноба, я извлек из заветного кармашка, пришитого к изнанке трусов, кремень, кресало из куска

напильника и трут в обрезке медной трубы. Высек гирлянду искр, раздул затлевший трут, распалил костерчик. Сооружение костра, а точнее — рождение огня неизменно вызывало у меня радостное оживление и дарило удовольствие.

Я собрал раков, расползшихся, прыгавших на хвостах и норовивших ущемить клешнями побольнее, и заполнил ими опорожненную консервную банку. Через несколько минут раки в банке покраснели.

Для экономии мы не бросали соль в воду, а макали в растолченные кристаллики кусочки бело-розового нежного мяса.

И тут я опять увидел свою собаку. Она стояла по брюхо в воде возле трубы и внимательно вглядывалась перед собой — в реку.

Прихватив несколько кусочков рачьего мяса, я направился к Водолазке. Так, само собой, получилось ее имя — Водолазка.

— Водолазка! Водолазка! — позвал я, решительно и с самыми добрыми намерениями приближаясь к ней.

Она быстро повернула голову в мою сторону, прыжками выскочила из воды и остановилась, поглядывая то на меня, то на реку.

Да ведь она не понимает своего нового имени! Как ее могли прежде называть? Жучка? Мало ли у собак имен, поди угадай. Вон Гарешкину лупоглазую сучку-малютку Мушкой кличут. Она у Кулешей дома живет, под шкафом. Там же и щенят выводит, крохотных, как мышата.

Водолазка не отозвалась ни на одну кличку.

Я почмокал, посвистел, привлек ее внимание и положил наземь мясное крошево. И отошел назад.

Собака, несколько раз остановившись по пути, приблизилась к лакомству, понюхала его, подняла морду и долго, словно размышляя, разглядывала меня. Я говорил ей хорошие, правдивые слова, но она не верила мне и при каждой попытке приблизиться к ней удалялась на безопасное, по ее меркам, расстояние.

Но когда я оставил ее в покое, собака возвратилась на свой «наблюдательный пункт» у трубы.

И тогда я подумал: а почему бы не сделать ей желанный подарок, и, балансируя раскинутыми руками, прошел в конец трубы. Течение то и дело пыталось столкнуть меня со скользского металла, но каждый раз я восстанавливал равновесие и удерживался на трубе.

Ждать пришлось долго, но вот что-то светлое всплыло из пучины и вновь погрузилось в нее. Я нырнул. Сквозь зеленоватую муть различил этот бесформенный светлый лоскут и сцапал его, ускользающий и мягкий.

На сей раз собака не отказалась от моего подношения и утащила его в укромное местечко в овражке. А тут и пересчет нагрянул. И бдительный Гарешка гикнул нас, когда ставни в ларьке наконец-то распахнулись. Возле окошечка встала дюжая наблюдательница с рослой и толстой помощницей, чтобы никто без очереди не посмел на кости посягнуть.

Давали по два килограмма на номер. Пришлось посожалеть, что Стасик остался дома,— еще пара килограммов не помешала бы нашей семье. Однако Стасик тоже выполнял ответственное задание — ему мама поручила стеречь квартиру. Кто-то на прошлой неделе, когда мы играли в «защиту крепости», попытался влезть к нам в комнату и уже почти всю замазку от одного оконного стекла отковырял чем-то острым, похоже, стамеской или отверткой, но не успел выполнить свое гнусное намерение — Стасик в комнату вошел и увидел, как кто-то метнулся прочь от окна.

По правде сказать, и красть-то у нас было почти нечего. Большущее бабушкино зеркало в резной деревянной раме с навершием, изображавшим старинные музыкальные инструменты,— так его в окно не вытащишь. Настенные, ящичком, дедовские часы с медным блюдцем-маятником и мелодичным боем да чайная серебряная ложечка с витой тонкой ручкой — вот и все наши семейные богатства. Их-то Стасик и сторожил сейчас.

...Мне достались пара голых ребер да большой, как с завистью определила бабка, «шахарный» мосол.

Ай да бабка! Ай да бабки! Обо всем-то они прознают, эти незаменимые добытчицы, помощницы и кормилицы. Не подвела Герасимовна, не напрасно за нее ручался. Жаль, что у меня нет бабушки, умерла. Но я ее помню, хотя и маленьким был, когда она с несмышленышем братцем тютюшкалась. Добрая была бабуся, заботливая. И все шалости мне прощала, не наказывала, а лишь снисходительно журила.

...Конечно же, я выполнил все мамины указания: и крапивы со свекольными листьями нарвал, и морковки надергал, и кости в большой кастрюле на таганке сварил, на заднем дворике напротив нашей сарайки.

Стаська мне усердно помогал, топливо разыскивал. Под таган шло все, что могло гореть, даже старая галоша сгодилась, и получилась попутно шикарная дымовая завеса. Но жил я другим.

Весь день у меня из головы не выходила встреча с собакой. Я надеялся, что мы подружимся. Она так хорошо, без прежней злобы, посмотрела на меня в последнюю встречу.

И вечером я опять наведался к трубе. Кругом было непривычно безлюдно. На островном берегу дымил костер — одинокий рыбак спасался от комаров. В серой притихшей реке отражалось неяркое пламя костра, переливалось красными бликами.

Налюбовавшись пустынным пейзажем, донимаемый тучей комаров, я ринулся прочь с берега. И тут меня осенило: куда делась Водолазка? Уж не в той ли овражной пещере спряталась на ночь?

Отбиваясь лопухом от кровожадных пискунов, я повернул к оврагу. За несколько шагов до пещеры услышал усиливающееся с моим приближением рычание, обращенное явно ко мне, и какой-то скулеж. Нетрудно было догадаться, что там вместе с собакой ютится щенок. И возможно, не один.

Осторожно, в ожидании очередной яростной атаки, а мне было хорошо известно, на что способна собака, защищая свой помет, я отступил, как в прошлый раз. И ни с чем возвратился домой. Но теперь мне было известно, где она обитает.

Я долго не мог уснуть, все думал: что станет с Водолазкой и ее щенками зимой, когда Миасс покроется льдом, а овражек занесет снегом вровень с бугром? Едва ли Водолазкина семейка выживет. А собака — необыкновенная. Жалко ее. Да если бы и простой дворнягой была — какая разница, ведь собака же! Да еще со щенками.

Уже следующим утром мы в штабе обсуждали судьбу Водолазки и ее потомства. Я предложил действовать так: забираем из пещеры щенков, идем с ними к Водолазке, показываем, и собака послушно следует за нами.

Под нашим сараем мы — Юнька, я и Гарешка, и Стасик нам охотно помогал — выкопали вместительную нору, устлали ее травой, чтобы детям Водолазки жилось в тепле и уюте.

Поскольку план выдумал я, то и осуществить его предстояло мне, тем более что сообразительный Юнька прямо спросил меня: кто лично будет щенков из пещеры брать и кто понесет их показывать суке?

Друзья обещали оберечь меня от возможного нападения. Если собака набросилась бы на меня, Юнька и Гарик с веревочными кнутами в руках отогнали бы ее, а я сразу поставил бы на землю лукошко со щенками — пусть хватает за шкирки и уносит восвояси.

Затея выглядела рискованной, мы это осознавали, но верили, что завершится она успешно. Я где-то вычитал, что сука не бросается на человека, завладевшего ее щенками.

Все произошло именно так, как я и предвидел. Водолазка, которой я показал обоих ее щенят, залаяла, запрыгала, затанцевала передо мной, тявкнула несколько раз, словно с какой-то просьбой обращалась, и послушно затрусила за нами.

Она то и дело забегала вперед нас, будто желая убедиться, что щенки еще в лукошке и им не грозит никакое лихо. Мне показалось, что собака улыбается. Она, уверен, правильно угадала наши помыслы и поэтому весело скалила зубы.

Но когда мы приблизились к воротам нашего двора, Водолазка повела себя непонятно и даже странно: бросилась через дорогу к дому, где жил Гарешка, и прямотаки с остервенением принялась облаивать дядю Мисю, мирно сидевшего на лавочке, подпершись палкой, без которой и шагу ступить не мог. Дядя Мися, понятное дело, вынужден был пустить в ход свой посох, а Водолазка хватала его и грызла, захлебываясь от ярости.

Я позвал собаку, и она, к моему удивлению, тотчас отстала от дяди Миси, сиганула к нам, завиляла хвостом, заюлила. Но почему она так злобно лаяла, почему ей не понравился тихий, безобидный, больной человек?

Дядя Мися для меня остается загадкой, хотя кое-что о нем я знал достоверно.

Впервые я увидел его ранним летом этого года — в середине мая. Сначала я услышал глухой, ухающий кашель: бух, бух, бух...

Примостившись на вершине тополя, прозванного мной «капитанским мостиком», на доске, привязанной к сучьям, я наблюдал в бинокль, настоящий боевой бинокль, но с одним пустым окуляром, весь наш квартал от улицы Труда до улицы Карла Маркса.

Бинокль под честное слово на три дня дал мне Алька Чурбаков, мой старинный знакомый, еще вместе в один детсад ходили. Бинокль имел славную, если не героическую, биографию — он принадлежал Алькиному дяде, военному еще с гражданской войны, а сейчас чуть ли не генералу.

Цель у меня была ясная: заметив кого-нибудь из друзей, дождаться его приближения и неожиданно, врасплох, понарошку, напасть: «Стой! Руки вверх! Хенде хох!»

Настроение было радужное, я насвистывал «Красот-

ки, красотки, красотки кабаре...» из недавно и несколько раз подряд жадно просмотренного фильма «Сильва».

Столь восторженное настроение объяснялось тем, что я до сих пор чувствовал себя немного влюбленным в прекрасную Сильву и готов был совершить ради нее невиданный подвиг. Например, спрыгнуть с высоченного сарая.

Взглянув в ту сторону, откуда послышался бухающий кашель, я увидел на противоположном тротуаре маленького рыжего человечка, держащегося одной рукой за забор, а другой — за грудь. Судорожный кашель бил его долго, и я подивился: где это в такую теплынь умудрился он настолько простудиться? Мы всей свободской ребячьей стаей уже в начале мая купались в парковых каменоломнях со скользким, на метр осевшим под прогретую солнцем воду льдом, и ничего — здоровехоньки, никто даже не чихнул.

Накашлявшись, человек, опираясь о забор, доковылял до лавочки и опустился на нее в изнеможении. Теперь я, прищурив один глаз и плотнее прижавшись другим к окуляру, мог рассмотреть его получше.

Восьмикратно увеличивающий бинокль приблизил лицо рыжего человека настолько, что я отпрянул и слегка ударился затылком о ствол тополя. Это было лицо мертвеца! Серая кожа, фиолетовые губы с кровавой пеной в уголках полуоткрытого рта. На щеках и лбу — масляные капли пота. На подбородке торчала кустиками красновато-ржавая щетина. И неестественно белели очень яркие молодые зубы.

Глаза человека были закрыты, и я различил желтые спекшиеся ресницы. Грудь его дергалась от резких и коротких вздохов.

Ему плохо, догадался я.

Вмиг по сучкам спустился с дерева и подбежал к больному — несомненно, что человеку стало тяжело.

— Дядя, вам плохо? Вы хвораете? — спросил я, робея.

Человек не сразу расклеил веки, и на меня уставились

безжизненные блекло-голубые глаза. Мне стало зябко от этого бессмысленного неподвижного взгляда, устремленного на меня.

— Скажи... маме,— прошелестел он сухими губами.— Я... вернулся...

— А кто ваша мама? Как ее зовут?

Он смотрел на меня непонимающе и долго молчал. Наконец произнес:

— Ма-ша.

Тетю Машу я, разумеется, знал. Да и кто ж о ней не слышал окрест. Быстро, добротно и дешево — очень дешево! — умела она обновить любую одежду — перелицевать, изменить фасон, размер, превратить ее в неузнаваемую, красивее сделать, чем была новой, мужскую, женскую, детскую, на любой вкус... Тетя Маша слыла кудесницей. Она и внешне отличалась от всех других людей: огромная, толстая, усатая.

Муж ее, колченогий от рождения дядя Леша, маленький, щуплый, с кудрявой, огненной, пышной шевелюрой, походил на факел. Чуть светало — уже раздавался стук его молотка. Те же дробные звуки я слышал и в сумерках, когда пора было бежать домой спать.

Дядя Леша днем, в погожую погоду, выползал во двор, ловко закидывал зад со скрюченными детскими болтающимися ножками на табуреточку с сиденьем, забранным перекрещенными кожаными ремнями. Возле него вырастала гора разной обуви со всей округи — дядя Леша был всем известен, даже знаменит, как сапожный мастер. И он тоже не драл за выполненную работу три шкуры, как некоторые частники, а называл цену по совести, за что его все уважали. Отремонтированная им обувь становилась еще крепче, нежели прежде,— такая легенда о дяде Леше и его неподражаемом мастерстве сделала Фремова поистине самым знаменитым среди всех сапожников Челябинска. Впрочем, так же как беспутное поведение старшей дочери веселой и легкомысленной красавицы Розки. Вся улица знала и об их сыновь-

ях Лерке и Миське, они слыли «щипачами» высочайшего мастерства, то есть профессиональными карманниками, унаследовав виртуозность и артистичность от своих прославленных родителей.

Лерку, то есть дядю Валеру, я видел частенько в прошлом году. После очередной годовой отсидки он шумно наверстывал упущенное, и «пир горой» в честь его возвращения продолжался во дворе дома номер семьдесят семь три дня подряд. Но месяца через три блистательный, в синем шевиотовом костюме, белоснежной рубашке с накрахмаленными обшлагами и в туфлях фасона «шимми» с рантами и нежным музыкальным скрипом, постоянно улыбающийся белозубый красавец Лерка исчез столь же неожиданно, как и появился.

Розка, томная и мечтательная в любое время дня, шурша умопомрачительным шелковым платьем вишневого цвета, прекрасная, как царица из «Тысячи и одной ночи», книги, которой я тогда зачитывался до миражей, собравшись на танцы в Дом офицеров, сообщила нам, что братец опять «зачалился». За «лопатник». Так карманниками назывался бумажник. Вот тебе и Лерка Артист — попался-таки.

И этот окоченевший, полумертвый рыжий человек — дядя Мися, брат Артиста?

Спрашивать его я не посмел, а сорвался с места и через несколько секунд предстал перед тетей Машей. В засаленном до кожаного блеска ситцевом фартуке, она готовила на таганке что-то мясное, вкусное на обед и одновременно сшивала какие-то куски ткани на ножной машинке «Зингер».

— Тетя Маша, там вас спрашивают... Наверно, ваш сын.

— Так что же он не идет сюда сам, если я ему понадобилась? Его кто-то держит за руку и не пускает, да?

— Он не может идти. Сидит на лавочке. И кашляет. Он простыл. Здорово!

— Не может? — всполошилась тетя Маша.— Что с ним такое сделали?!

Не выпуская поварешки из пальцев, она вперевалку, как утка, заспешила к воротам, смешно растопырив руки. Я на одной ножке прыгал вслед за тетей Машей и даже опередил ее.

Тетя Маша накрыла своим тучным телом маленького человечка и заплакала, запричитала, заголосила — на всю Свободу.

Приполз, опираясь на ручные деревянные колодочки, дядя Леша, молча разглядывал сникшего от обморочного бессилия сына.

Быстро собралась толпа — тетя Люда Брутова, все многочисленное шумливое семейство Кушмаровых, из соседнего дома приплыла полнотелая мамаша Моськи Шкуратова — тетя Нина, и все они гомонили, громко, не слушая и перебивая друг друга. Наконец кто-то догадался, что надо дать больному «что-нибудь теплое и питательное». Куриный бульон, естественно, нашелся у закройщика модельной обуви Шкуратова, и сына тети Маши отпаивала с позолоченной чайной ложечки благоухающая «Красной Москвой» домохозяйка тетя Нина, а жирный бульон стекал прозрачными каплями с его небритого, грязного подбородка в ямки возле ключиц и на грудь, вздымающуюся при дыхании уже не столь судорожно.

Потом больного увели под руки — медленно, с большими предосторожностями. В последующие дни о нем ничего не было слышно, да и сам он не появлялся на глаза никому.

Приблизительно через месяц дядю Мисю уже можно было увидеть во дворе, возле двери их квартиры. В полуденный зной он неподвижно сидел в тени высокой голубятни Фремовых, закутанный в тулуп. Его прозрачное, истаявшее лицо было поражено крупными серыми бляшками веснушек. Он словно прислушивался к чему-то, смежив веки, чего никто, кроме него, не различал в кавардаке звуков, которыми по крыши домов был заполнен многолюдный двор дома номер семьдесят семь, вернее, двух домов-арбузов.

Отрешенность дяди Миси весьма обострила мой интерес к нему, и я обычно вертелся всегда поблизости.

Сразу же от тети Маши разлетелась молва, что Миську «комиссовали», то есть отпустили из тюрьмы домой по болезни, которая называлась забавно, если не смешно,— чихотка. «Чихотку» я связал с чиханием и бухающим кашлем. Вот до чего можно дочихаться, что и из тюрьмы выгонят — чтобы другим сидеть не мешал,— сделал я вывод.

Любопытство мое к дяде Мисе постепенно иссякло, но одно событие, вроде бы никак не связанное с ним, меня, да и не только меня, а Гарешку и Юньку тоже, крепко взбудоражило — на помойке, рядом с фремовской голубятней, мы углядели отрезанную собачью голову. Она лежала на сточной решетке. Мы ее, конечно, откатили в сторону палкой. Мертвая собачья голова поразила нас. Зачем, кто это злодеяние совершил?

Через два-три дня мы разузнали, что в сарае Фремовых привязан на веревке большой пес. Его по нескольку раз в день кормит сама тетя Маша.

С Гарешкой мы вскарабкались на сарай, легли на покатую крышу — нас со двора не было видно — и, раскачав одну из досок, сдвинули ее в сторону. В образовавшуюся щель разглядели здоровенного пса, без устали облаивавшего нас.

Пришла обеспокоенная беспрерывным брехом тетя Маша, но мы затаились, и она удалилась, так ничего и не выяснив.

Лохматому, пегому, крупной породы псу жилось у Фремовых недурно — в медном тазике полно еды, различались кости и даже хлебные корки. У нас аж слюнки потекли. Мы знали, что пищевые отходы тете Маше по блату дает в военторговской столовой повар-щеголь с усиками — «клиент».

Ничего подозрительного мы не заметили. Если тетя Маша настолько любит своего волкодава, то не позволит же она отрубить ему голову и выбросить ее в поганое место. Где смысл?

Словом, злодеяние так и осталось, до поры до времени, тайной. Но мы не сомневались, что раскроем это кошмарное преступление.

...А сейчас, когда Водолазка, отскочив от дяди Миси, вернулась к нам и завиляла хвостом, то никто из нас не понял, почему она столь остервенело рвалась к несчастному инвалиду.

Дядю Мисю многие жалели. Оказывается, врачи вырезали у него одно легкое. Поэтому он такой скособоченный. Я ему тоже сочувствовал и поэтому недоумевал: чего Водолазка к этому безобидному и беззащитному человеку прицепилась?

Но тут же я об этой собачьей нелепой выходке забыл,— может, ей захотелось перед нами выхвалиться: вот, дескать, какая я сильная, смелая и решительная. Глупость, конечно, но так поступают даже некоторые ребята. Колька Муравьедов, к примеру.

С появлением семейства Водолазки в нашем дворе забот у меня значительно прибавилось. Посоветовавшись с друзьями, я решил добывать корм вместе с ней. Теперь ей далековато было бегать на реку. И по пути на нее могли напасть бродячие псы, и в сети шкуродерам угодить запросто. А я не позволю ее обидеть.

Из куска бельевой веревки получился отличный ошейник. Вместо поводка подошел двухметровый конец электропровода.

В один из ближайших дней я отвел Водолазку на реку, к трубе. Освободил ее от ошейника и скомандовал:

— Лови! Фас!

Но она стремглав помчалась в ту сторону, откуда мы только что пришли. И никакие мои приказания не подействовали.

Вернувшись домой, я нашел Водолазку в норе, рядом со своими собачатами, вовсю терзавшими ее соски. Она улыбалась мне, но не пожелала уходить от своего потомства. Я все же надел на нее ошейник. Пятясь, она потянула поводок, избавилась от ошейника и юркнула под сарай, поджав хвост.

Вытянуть мне ее не удалось, она недовольно рычала и скалила зубы, но уже не в улыбке. Ссориться с ней я не захотел.

Что ж, ничего не оставалось, как пойти на реку добывать корм самому.

Немного посмекалив, я облегчил свой труд. У меня в сарае на гвозде висел старый сачок с крупной ячеей. Я его на каменной гряде, что Миасс вдоль разделила, нашел, у острова-сада. Попробовал ловить им рыбу, но ничего из этой затеи не вышло, как ни старался.

По диаметру он уступал трубе, но если сак установить напротив отверстия — в его мешок обязательно что-нибудь да попадет. Расчет оправдался, и я каждый день вытаскивал из сети всякую требуху.

Водолазка быстро освоилась в новой должности охранницы и никого, кроме меня и Стасика да моих друзей, к двери сарая не подпускала.

Тетя Тоня сразу с появлением во дворе Водолазки сочинила страшную историю, как «агромадная» собака Долговых, «ну, чисто теленок» набросилась на нее, чуть не разорвала, перепугав почти до смерти. Заучив свою побасенку наизусть, слово в слово, тетя Тоня без устали исповедовалась всем встречным и поперечным, завершая страстные излияния обвинением:

— Да что жо этто такое, а? Никакого житья нету. Надо жа: бешеного псину привели и натравливают на беззащитных суседев! За этто судить надобно, как за фулюганство,— в свою личную стайку не пройдешь. Пушшай суд Егорке строк даст. Сколь можно терпеть?

Однако Колька на Водолазку и ее щенков не покушался и, поверив россказням мамаши, обходил конуру окольно.

Между тем у Водолазки обнаруживались один за другим разнообразные таланты. Не буду повторять об ее редких способностях пловчихи, Водолазка и прыгала на завидную высоту — выше моей головы. Она ловко выхватывала из пальцев поднятой руки кусочки требухи.

и понимала едва ли не каждое мое слово. Постепенно я уверовал в себя как в прирожденного дрессировщика животных. А однажды перед сном представил себя среди группы хищных зверюг на ярко освещенной цирковой арене — с хлыстиком в руке и маузером на боку. И тогда же в меня закралось сомнение: следует ли поступать в суворовское училище? Может, все-таки пойти в цирк дрессировщиком экзотических животных? Экзотических, значит, опасных, кровожадных — так объяснил я себе это красивое слово с цирковых афиш.

И еще меня тешило то, что Водолазка точно понимала многие команды: «на» (бери), «иди рядом», «не тронь», «ко мне», «стереги», «чужой» и другие. Она мгновенно отзывалась на свист, приветливо виляла хвостом и улыбалась, когда я ее кормил или хвалил, поглаживая голову и шею. Словом, моя собака обладала, несомненно, большим умом и выдающимися способностями.

Я гордился Водолазкой, ее храбростью и понятливостью и, восторгаясь, немножко хвастался ею перед друзьями и даже взрослыми — бабкой Герасимовной, мамой.

А как она любила своих щенков, черно-белого и пятнистого, серого. Заботливая мамаша облизывала их, играла с ними, а они резвились, два мохнатых, толстоморденьких и голубоглазых потешных шарика.

Уже и желающие нашлись взять на воспитание Водолазкиных веселых щенков, но Стасик, обожавший забавляться с собачатами, воспротивился, заныл: не отдавай да не отдавай, самим мало, если б их было пять, а то всего два.

А в остальном мы — Водолазка, ее сыновья, Стасик и я — были счастливы. И мама согласилась, чтобы у нас жила собака, только спросила, чем я ее намерен питать. Я объяснил. И заверил, что голодными своих друзей не оставлю.

Но счастье наше чуть не рухнуло в одно утро, когда я обнаружил в норе одних скулящих щенят. Куда делась собака? Убежала на реку? Но зачем? В сине-рисунчатой

кузнецовской тарелке с отколотым краем — полно еды.

Обеспокоенный, я побывал на берегу, обследовал его и овраг, но Водолазки не встретил. И побежал к Гарешке. Того тоже взволновало исчезновение собаки.

— Щенки подохнут,— мрачно заявил он.— Без молока.

Легко сказать — молоко, а где его взять? Нет, где его купить, любой знает, но на какие шиши?

Однако на чекушку коровьего молока мы, всем отрядом, наскребли. Я быстренько смотался на рынок. Собачата насытились и уснули, обнявшись.

По моему призыву снова собрался весь штаб отряда.

— Ребята,— открыл я заседание,— задача такая: найти Водолазку. Если ее не изловили сетью живодеры, то она где-то здесь, поблизости, у кого-то в плену мается.

— Она не могла убежать от своих собачат,— авторитетно заявил Гарешка.

— Вот именно,— разделил его мнение я.— Поэтому обыскать все вокруг и — найти.

— Прочесывать — все места вокруг! — порекомендовал Гарешка.

— Можно долго проискать,— усомнился Юнька.— Если бы кого-нибудь еще сагитировать.

И мы принялись перебирать возможных помощников.

— Коляна Бумбума,— высказался Гарик.

— Едва ли он нам поможет,— откровенно признался я.— Но попробовать можно.

— А не Бумбум ли увел Водолазку? — догадался Юнька и многозначительно утер нос тыльной стороной ладони.

— Это разузнать берусь лично,— сказал я.— Знаешь почему я тоже так думаю? Тетя Тоня люто ненавидит Водолазку. Сам не знаю за что. А ты, Бобынек, потолкуй с Муравьедом, пусть все облазит в своем дворе. И в соседнем, где Пучкины живут.

И мы немедля приступили к делу.

Тетя Тоня на мой вопрос слукавила:

— Миколая нету дома.

Но я-то знал, уверен был, что Ржавец опять отлеживается под огромной, в полкомнаты, широченной, с панцирной сеткой и блестящими никелированными шарами на верху ножек кроватью на колесиках.

Догадаться было запросто — на крылечке сидела чернявая остроносая девица и читала «Комсомольскую правду», поджидая Коляна.

Как только тетя Тоня отлучилась куда-то, наверное к тете Глаше потопала, я забрался на подоконник Короеловых и шепотом позвал:

— Колян! Эй!

В ответ — ни гугу. Но я не отступил. Оглянулся, не видать ли тети Тони на горизонте, и спрыгнул в комнату.

Колька каждый раз забивался под эту кровать, когда за ним приходили из райкома комсомола. И сейчас — точно! — Ржавец лежал на плетеном половичке и мусолил школьный учебник химии, заучивая наизусть какие-то формулы.

— Чего тебе надо? — побагровел от гнева Колька.— Проваливай, а то как дам!

— А райкомовская-то услышит.

— Где она?

— На крыльце сидит, «Комсомолку» читает.

— Ну, чего тебе?

— Где наша Водолазка? Только — честно.

— Опупел, что ли? Откуда мне знать?

Похоже, Ржавец говорил искренне.

Тем же путем я выбрался из квартиры — девушка терпеливо дожидалась лукавого комсомольца Короелова, напрасно теряя время. Но я не мог выдать Коляна, хотя он и скрывался от ремеслухи.

Ржавец, возможно, и пошел бы учиться в ремесленное училище, а после — на завод. Но тетя Тоня запретила ему об этом и думать, хотя пацаны и помладше Коляна,

работая в цехах, получали полный хлебный паек и талоны в столовую. Тетя Тоня, объясняя соседям, почему не отпускает сына в рэу, мечтала:

— Колькя на анжинера пущай выучится — будет с порфелем ходить под мышкой и гумаги подписывать. Как начальник Пушкарев. И я тады от стирки проклятой хочь отдохну. Хватит, помантулила — вон руки-то что колоды, не разгибаются от холодней воды.

...В поисках Водолазки незаметно иссяк день, и наступил длинный тихий вечер. Многие жильцы нашего дома вышли из своих квартир и мирно беседовали, сидя на крылечке, лузгали подсолнечные семена. Мамы среди соседей не было, она опять задержалась на работе.

И тут появился Гарешка.

— Водолазка нашлась!

— Божись! Где?

— У Фремовых в сарайке. Плачет! Честное пионерское.

— Не обознался?

— Через крышу зырил — она. В наморднике из ремней.

— Как она к ним попала?

— Не знаю. Может, выманили? С ней какой-то пес здоровенный.

Мы устремились к Фремовым.

С кошачьей ловкостью забравшись на довольно высокий сарай, под неодобрительные выкрики кого-то из жильцов Гарешкиного двора мы залегли на крыше. Раздвинув замшелые доски, я не сразу разглядел, что там за собаки внизу. Одна, несомненно, была Водолазка. Ее голову, действительно, обтягивал тесный ременный намордник. Я узнал ее приглушенное повизгивание, так она разговаривала со мной, когда что-нибудь выпрашивала. Я позвал собаку. Она забеспокоилась еще больше и попыталась порвать сыромятную плетеную веревку, вставала на задние лапы, хрипела от удушья — безуспешно... Да такую веревку и трактором не порвешь. В углу темноватого закутка, где томилась Водолазка, я различил большой

медный таз, наполненный едой. Выходит, она не дотронулась до всей этой вкуснотищи. Голодует от тоски по щенкам.

— Идем к тете Маше,— скомандовал я.

Тетя Маша опять что-то готовила, что-то мясное и очень аппетитное, пахучее, на таганке, поставленном в жерло русской печи. Поэтому двери и окна были растворены настежь.

Дядя Леша, труженик, каких поискать, тачал сапоги из нового блестящего хрома и, как только мы вошли в прихожую (она же и кухня), сразу прикрыл заготовки тряпкой.

Дядя Мися полулежал неподалеку, на низком топчане, одетый в вязаный шерстяной свитер и поверх него — в меховую безрукавку. На ногах его, привлекая нежной белизной, красовались новые толстые шерстяные носки — это в такую-то невыносимую жарищу-духотищу!

Преодолевая сковывающую робость, я произнес:

— Тетя Маша (она казалась мне главной), у вас в сарайке наша собака, Водолазка. У нее собачата. Два. Маленькие. Голодные. Они без матери не могут жить.

— А кто вам сказал, что собака — ваша? — назидательно спросила тетя Маша.— Я бы хотела взглянуть на того человека.

— Мы ее с речки привели. Она ничейная была.

Дядя Леша молчал, у него из зубов торчали белые березовые шпильки.

Дядя Мися осторожненько и как бы бережно кашлял в сжатый кулак.

Молчала и тетя Маша. Наконец объявила:

— Эта собака — наша, ребятки. И звать ее не Водолазка, а Линда. Она от нас убегала раньше, ненадолго, а теперь вернулась. А собачат вы возьмите себе.

— Они же грудные. Им молоко нужно.

— В таком случае принесите их нам,— нашлась тетя Маша.— И мы их будем кормить.

— Мы их уже пообещали.

— Тогда кормите их сами. Как вы думаете: кто нам даст столько молока, чтобы кормить всех приблудных щенков? Это надо корову для них держать... А кто нам даст эту корову?

Я не нашел, что сказать в ответ, и мы с Гарешкой продолжали стоять, ожидая. Выручил Гарешка:

— У вас ведь еще одна собака есть...

— Не видать... вам Линды... как... своих... ушей,— сипло и тихо произнес дядя Мися.— Канайте... отсюдова. Собака — моя... и пес — мой...

Нам ничего не оставалось, как покинуть квартиру Фремовых, но тут отдернулась бирюзовая занавеска с зелеными драконами, с которых я не спускал глаз и которые порождали в моем воображении фантастические сцены битв чудовищ, и из-за нее выглянуло смеющееся круглое лицо Розки. Она соскользнула с высоких перин на пол, причем длинная ночная рубашка немыслимого розового цвета, отделанная белыми кружевными лентами, задралась так, что высоко обнажились полные ноги. У меня моментально кровь хлынула к лицу, и я почувствовал, что уши мои нестерпимо горят — в низком вырезе, в оправе кружевов, сияли полные девичьи груди.

По-видимому, мое смущение было явным, и причину его правильно поняла быстроглазая и сообразительная тетя Маша. Она зло зыркнула на дочь и что-то буркнула. Розка только рассмеялась в ответ, обнажив прекрасные, блеснувшие белейшей эмалью зубы.

Розка, вероятно, потешалась над нами. Она, громко смеясь, сказала нам:

— Мальчики, чем бегать за собаками, вы начинали бы ухаживать за девочками.

И опять заливисто засмеялась.

От Фремовых я вылетел с взмокшей спиной. Ну и Розка! Бесстыжая. Думает, что я маленький, не понимаю.

— Нет, Водолазка не сама к ним пришла,— сказал мне Гарик.

— Сам знаю, что они ее силком увели,— сердито ответил я.— Что делать-то будем, Гарь?

Сам себе я назойливо задавал вопрос: почему столь яростно облаивала дядю Мисю Водолазка в первую их встречу? В этом была какая-то загадка, имевшая отношение ко всей этой истории.

Все мы желали скорейшего возвращения Водолазки, но не знали, как его осуществить. Минул день. Мы собрались снова.

— А где та собака, что жила в сарае Фремовых раньше?— спросил я.— Куда они ее заныкали? Пес совсем другой.

— Верно, продали,— предположил Гарешка.— Нет... Не для расплода они их держат. Пропадет и наша Водолазка. Надо вызволять, пока не поздно!.. Но нам они ее не отдадут,— уверенно заключил Гарешка.— Разве что за выкуп.

— Не на что нам ее выкупать.

— Не на что,— подтвердил друг.

Чтобы не мельтешить на виду у Фремовых, мы вернулись к нашему крыльцу, где соседки все еще лузгали семечки и судачили о том о сем.

— Нашли шобаку-то? — сочувственно спросила Герасимовна.

— У Фремовых на привязи в сараюшке сидит,— ответил я.— Не отдают нам.

— Вше, каюк ей...— так же сочувственно произнесла бабка.

— Почему — каюк? — вздернулся я.

— Пошему, пошему — Мишка их ешт. Ждоровье поправлят. Шало иж них топит и пьет, по большой ложке три ража в день. Ш медом.

— До чего озверели люди,— равнодушно произнесла завмаг, держа за ручку ночной горшок.— Уже и собак едят...

После стычки с соседками мы с Гариком навестили Юньку, и он поведал нам возмутительную историю: Коль-

ка Муравьедов побожился Бобыньку, что знает наверняка, где и у кого находится Водолазка. Он даже поклялся: «Век Свободы не видать». Всей улицей поклялся, что лично будто бы проследил, как незнакомый парень вывел из нашего двора Водолазку и потащил ее к железнодорожному вокзалу. Колька, по его уверениям, крался за злоумышленником и сопроводил его до самого дома, куда тот якобы и завел нашу Водолазку. Колька охотно брался помочь нам в розыске и показать «тот дом». Но не за здорово живешь, а за хлеб, картошку или тарелку супа, лучше — домашнего, с мясом. Согласен он и на стакан семечек с двумя «тянучками» в придачу или, на худой конец, кусок — большой! — жмыха.

— А еще чего он желает? — спросил я.— Ку-ку он не хо-хо?

И я продемонстрировал нехитрую комбинацию из трех пальцев — вкусненького ему, трепачу, супу захотелось. Обманщик! За такие фокусы сопатку бьют.

— А я ему талон на второе в четэзэвскую столовую проиграл. В жестку. И отдал уже,— признался Юнька.— Отец вчера принес. Талон-то стахановский был, гуляшевый. С пшенкой.

— Вот подлюга,— не сдержался я.— Да как тебя-то угораздило? Ты же знаешь, что в жестку он всех обставляет запросто...

— А он сказал, что ежли я выиграю, то он бесплатно скажет, где Водолазка. А ежли продую, то — его желание. Он и говорит: мое желание — что в карманах было ваше, стало наше. Вывернул карман, а в нем — талон.

— Ну, ничего, он еще заплатит за это,— сказал я.— Я его проучу.

— А я свистну отцу, что все второе слопал сам, без Вальки. Скажу, что не утерпел. Нет. Чтобы не отлупил, фукну: потерял. А еще лучше — сперли.

На том и порешили. А я предложил объявить Муравьеду бойкот.

— Давайте отдерем доску с обратной стороны и выпу-

стим Водолазку,— воскликнул Юнька, выслушав наш рассказ об обнаружении собаки.

Я понял, что это и есть возможность спасти друга.

Перемахнув через забор, мы проникли из Гарешкиного двора в огород к Шкуратовым, незаметно пробрались вдоль сарая, длинного дореволюционного строения в зарослях малины, отыскали отсек Фремовых.

Слышно было, как, сдавленно хрипя, металась за стенкой Водолазка, учуяв нас. Однако оторвать намертво прибитые доски без шума оказалось невозможным, и мы вспомнили о щели на крыше

Вернулись ко мне домой и более основательно подготовились к вызволению нашей любимицы: я взял моток бельевой веревки, из отцовского инструмента выбрал небольшой гвоздодер.

Поначалу я не обратил внимания, что Гарешка скис и смотрел на нас как-то виновато. Когда мы пришли в его двор, он нерешительно произнес:

— Может, не надо, а?

— Чего — не надо? — не понял я.

— Ну, в сарайку залезать. Все-таки — чужая...

— А они нашу собаку украли — им можно? Или — сдрейфил?

— Да нет, я — как вы. Не думайте — не струхну.

И правда, далее он вел себя достойно, не колебался.

Смеркалось, когда мы снова забрались на крышу сарая и на локтях и коленях проползли — почти беззвучно — до знакомого места, споро расширили отверстие, и я спустился вниз, в темноту — там скулила Водолазка. Одна.

Во мраке я нащупал ее и потрепал по шее и спине. Собака обрадовалась, тыкалась в мои колени прохладным носом. Я сволок с нее намордник вместе с ошейником. Водолазка, радостно повизгивая, закрутилась, зафыркала и звонко, дважды, гавкнула. Я ей зажал пасть, но она вырвалась и снова подала голос. Соскучилась, голубушка.

«Лишь бы Фремовы не услышали,— подумал я.— Надо спешить...»

Не сразу мне удалось обвязать суетящуюся собаку веревкой.

— Поднимайте! Чего вы там зеваете?

Друзья споро потянули.

Я шагнул к задней стене, чтобы по ней выбраться наверх, и коснулся лицом чего-то мокрого и холодного. Машинально оттолкнув это «что-то» рукой, я ощутил шерсть.

Впопыхах некогда было раздумывать, что это и почему.

Нам предстояло выполнить еще одно нелегкое дело — перебазировать Водолазку с семейством в штаб. Для безопасности. И мы взобрались с ней на высоченный двухэтажный дом по крутой лестнице и щенят ей доставили. Вот встреча-то была!

Вернулся домой я очень поздно. Тихонько открыл дверь — мама сидела за столом под люстрой и чинила что-то из нашей со Стасиком одежонки. Она подняла голову и обомлела, глядя на меня.

— Боже мой! Гера, ты опять подрался?

— Нет, ма.

— К тому же ты решил стать лгуном?

— Честное пионерское — не вру.

Мама подошла ко мне, взяла за плечи, развернула к нашему огромному — до потолка — зеркалу.

— И ты еще будешь утверждать, что не дрался?

Я увидел свое отражение, во весь рост, и не поверил своим глазам: лоб и правая скула чернели от засохшей крови.

— Это... не моя.

И тут до меня дошло, на чью шкуру я наткнулся впотьмах — вот куда делся тот упитанный пестрый волкодав. Его убили, сняли шкуру и поставили на откорм следующую жертву... Чудовищно!

— Ну, отвечай же! — резко потребовала мама.

— Чего? — не понял я, пропустив мимо ушей вопрос.

— Где ты был? Почему весь в крови?

— Честно? А ты... Это наша тайна.

— Чья — наша?

— Нашего тимуровского отряда. Дай честное слово, что никому не расскажешь...

Мама пообещала. И я поведал ей обо всем, что произошло.

— Ладно. Иди умывайся и — спать. Утро вечера мудренее. И что ты еще натворил? Марья Алексеевна мне жаловалась на тебя, просила наказать. Ты ее действительно оскорбил?

— Не я ее, а она меня. Сопляком. И всяко-разно... Но это — ерунда. Главное, она Водолазке смерть пожелала.

И я пересказал суть нашего спора.

— Все ясно. Отстаивать свои убеждения, особенно правду, надо, но при этом необходимо соблюдать такт. Ты меня понял?

Я не совсем понял, но утвердительно кивнул.

— А об остальном — завтра,— сказала мама.

Но утром я проспал даже дольше Стасика. Мама, как уже часто бывало, ушла на работу.

Я был уверен, что она не выдаст нас и Водолазку Фремовым.

Гарешка, во двор к которому я поосторожничал пойти, сообщил, что тетя Маша, обнаружив пропажу, громко, во все горло оповестила об этом жителей ближайших домов, а дядя Мися, ковыляя на лавочку, остановил его и спросил:

— Ты, оголец! Это ваша... работа?

— Какая работа? — придурился Гарешка.

— Вы Линду... увели?

— Не... Не мы.

И смылся от дяди Миси, благо, что он не только бегать, ходить без опоры не может. Мы и далее всячески избегали встреч с Фремовыми.

И все же невероятным было не столкнуться с дядей Мисей, ведь он постоянно в хорошую погоду торчал на

улице или во дворе. Не однажды он окликал меня своим слабым-слабым, бесцветным голосом, но я не подходил к нему — зачем? Я заведомо знал, что разговор опять будет о Водолазке.

Все произошло неожиданно. Возле ворот Гарешкиного дома, во дворе, меня внезапно схватили за руки Илька Жмот и верзила по прозвищу Голыш, он жил в конце нашего квартала, к реке. Я не знал даже, как его по имени звать.

— Пустите! — потребовал я, вырываясь.— Чего вам надо?

Эх, жаль, что рядом не оказалось ни Юньки, ни Гарика, вместе-то мы отбились бы запросто.

Они, несмотря на мое отчаянное сопротивление, выволокли меня за ворота и подтащили к истуканом сидевшему дяде Мисе.

— У тебя Линда? — спросил он.

— У меня! — отчаянно выкрикнул я.— Но фиг вы получите, а не Водолазку.

— Отпустите... его,— повелел дядя Мися.

Он медленно протянул мне ладонь — на ней лежала свернутая вчетверо новенькая пятидесятирублевка.

— Продай... Ты... купец, я... покупатель.

— Не продам,— выпалил я.— Даже за мильён.

И отбежал к воротам своего дома. Голыш с Илькой и не попытались догнать меня.

— Фраер ты,— крикнул вдогонку мне Илька.— Столь молочных брикетов — задарма! Придурок!

— Вот и жри сам то мороженое! А Водолазку никогда не поймаешь, понял ты?

Голыш было сгреб камень с тротуара и двинулся в мою сторону, но дядя Мися поднял руку, и тот остановился, утирая скользкость под носом бахромчатым рукавом дырявой рубахи.

Я ушел домой, чувствуя себя непобежденным — отстоял нашу любимицу.

Водолазка неизменно получала свою порцию требухи,



даже в холодные и дождливые дни. А к осени, когда щенки Том и Тим заметно подросли, мы прогуливали Водолазкино семейство на берегу Миасса и, если дядя Мися сидел на своем месте на лавочке, пробирались домой дворами.

Однажды бабка Герасимовна подковыляла ко мне и зашептала:

— Бают, што шабаку-то вы отбили от Мишки...

— Ну и что? — взъерошился я.— Водолазка — наш друг.

— Да я нишево. Вшакой божьей твари жить охота, я — нишево... Вше в руках божьих. Как он пожелат, так и будет...

Тяжко вздохнув, бабка пробормотала что-то невнятно и удалилась.

Наше собачье счастье продолжалось. Но близился сентябрь.

И я все чаще задумывался о зимнем Водолазкином житье.

В один из ранних, паутинных, светлых и сухих осенних дней мы, дружная четверка и увязавшийся за нами Бобка Сапогин по кличке Сопля, пришли к красивому, с башенками, зеленому дому по улице Красноармейской. В нем размещался военкомат.

— По какому делу, хлопцы? — осведомился дежурный офицер.

Я объяснил. И нас, как ни удивительно, принял сам военком майор Шумилин. Я его, между прочим, сразу узнал, но не подал виду.

— Эх, ребята. Хорошее вы дело задумали, но не получается служба вашей собаки на государственной границе. Ваша воспитанница — беспородная. Я все понимаю, не возражайте. Если б не кончилась война, вашу... как ее звать?

— Водолазка.

— Редкая кличка. Впервые слышу. Так вот, вашей Водолазке можно было бы найти применение в сани-

тарном отряде или другом подразделении, но... Мой совет вам: передайте Водолазку в органы охраны, к примеру, на «макаронку». Если она подойдет по своим качествам, ее возьмут. А за инициативу — спасибо. В армию пойдете — с удовольствием вас на охрану государственной границы пошлем. К тому сроку и собак себе подготовите — овчарок. Наведывайтесь.

Нечего говорить, что все мы, и Стасик тоже, после посещения военкомата решили стать пограничниками. А Вовка — аж начальником заставы.

А потом было вот что. Мы привели Водолазку на «макаронку». Нас встретили — недоверчиво — два охранника, мужчина лет сорока, небритый и хмурый, и, тоже пожилая, женщина в зеленом бушлате.

Прикинув что-то в уме, охранник согласился взять собаку. Мы простились с нашей любимицей, выпросив разрешение у угрюмого стража иногда навещать Водолазку, во время ее дежурств.

Вечером следующего дня втроем мы снова заявились на «макаронку». В проходной сидели уже другие люди, но отнеслись они к нам столь же недоверчиво и, главное, упорно повторяли, что ничего ни о какой собаке не слышали.

На внутренней территории фабрики вдоль высокого дощатого забора бегали, громыхая цепями, скользящими по натянутой проволоке, здоровенные лохматые волкодавы с раскрытыми зубастыми пастями, рычали и лаяли на нас, рыскавших вдоль ограды.

Из окошечка проходной за нами следили охранники. Один из них вышел из будки и, недовольный нашим присутствием, приказал убираться. Но мы не могли уйти, не узнав ничего о Водолазке, не повидав ее. Бессмысленно было звать ее, но мы звали, возбуждая ярость псов.

— Может, ей дали другое имя? — высказал предположение Стасик.

В добротно сколоченном заборе даже щелей не наш-

лось. Тогда наиболее легкий Стасик забрался ко мне на плечи, дотянулся до края забора, повис на нем, а я и Юнька подтолкнули его вверх.

Не успел братишка заглянуть во двор «макаронки», как из проходной вывалился один из охранников и устремился к нам крупными прыжками.

— Атанда! — выпалил Юнька, первым заметивший приближавшегося, и метнулся в сторону, я — за ним. А Стасик остался на заборе.

— Прыгай! — крикнул я, оглянувшись. Но братишка продолжал висеть, а когда разжал пальцы рук, то не устоял и упал на спину. Пока он вставал, охранник оказался рядом и уцепил его за фуфайчонку.

— Пусти! — завопил Стасик.

Я остановился, не понимая, почему нас ловят, ведь никто ничего дурного не совершил и не помышлял даже. Поэтому я ринулся к охраннику со словами: «Пустите его!»

Страж, оставив Стасика, сграбастал меня обеими ручищами, а тут и напарник его подоспел. Вдвоем они сноровисто завернули мне руки за спину, но Юнька не терял времени даром, оттащил от нас перепуганного брата.

От стражей несло махоркой, а от их одежды — вкусной пшеничной кашей. Я не особенно сопротивлялся, не чувствуя за собой никакой вины, веря, что недоразумение сейчас же разрешится.

В будке одуряюще пахло варевом. Стражи толкнули меня на скамью, один из них приказал:

— Сиди!

Второй тотчас принялся звонить по телефону — в милицию. По его уверениям получалось, что он задержал меня при попытке проникнуть на территорию фабрики.

— Фамилия? — допытывался тот, что столбом возвышался надо мной.

— Не скажу.

— Все скажешь как миленький. И дружков твоих поймаем... Где живешь?

— Нигде,— огрызался я.
— То-то и видно, что босяк.
— Мы вам собаку вчера привели.
— Ты нам собакой зубы не заговаривай.
— Спросите у того дяденьки с тетенькой, которые здесь дежурили.

Они, словно сговорились, не внимали моим оправданиям.

Время шло, а милиция не появлялась. Тот, что звонил по телефону, опять принялся крутить диск, стукая по рычажку и дуя зачем-то в трубку.

— Алё! Алё! — орал он.

Наконец ему ответили.

— Ну чо? — спросил его напарник.

— Прогуляем? — ответил он, подмигнув. Тот, другой, лишь ухмыльнулся.

— Идем,— приказал мне первый.

Я поднялся и направился к двери, ведшей на улицу.

— Куда?— остановил он меня.— Не уйдешь. От нас не уйдешь!

И подтолкнул меня к входу на фабричный двор.

Они проволокли меня по задеревеневшей и высокой крапиве туда-сюда, после вытолкнули, довольно усмехаясь, на улицу, выбросив следом сорванные перед экзекуцией мои штаны.

Ноги, руки, даже шея нестерпимо горели от сплошных ожогов... Но пуще гудящего зуда меня мучили, захлестывая, стыд и обида. Почему эти взрослые, сильные люди так надругались надо мной, за что? Разве трудно было проверить, правду ли мы говорим о цели своего прихода? Фашисты! Я им отомщу! Сожгу их вшивое логово!

Всю ночь я не спал, стонал, корчился, не находя себе места в раскаленной постели, однако встревоженной маме не разболтал о происшествии. И Стасик меня не выдал.

Чуть свет я побежал в баню, бессчетно залезал с веником на полок, нещадно хлестал покрытое белыми лепешками тело.

После бани немного полегчало, хотя тело продолжало болезненно ныть и гудеть, как телеграфный столб, когда к нему прижмешься ухом.

Прошло несколько дней, обида притупилась, страсти отмщения поутихли, и я отказался от расплаты с охранниками. Отходчиво детское сердце, лишь рубцами на нем остаются незаслуженные обиды.

Еще дважды мы прибегали к «макаронке» и изредка, по переменке, до першенья напрягая глотки, звали Водолазку, но так и не услышали ее веселого, заливистого лая.



МИЛА

...Я решил стать сильным, выносливым и смелым. Наверное, к этому меня подвигнуло и то, что потребовалась защита общественного огорода.

Какой-то злодей повадился по ночам подкапывать картофельные кусты. Действовал хитро: вроде бы все на месте, а наиболее крупные клубни умыкнуты. Иногда, в спешке, вор вырывал куст, обирал, а ботву втыкал в лунку, торопливо заваливая ее землей. Растения, конечно же, засыхали.

Обнаружение следов ворюги взбудоражило население нашего дома. Женщины дружно жалели пострадавших, проклинали неизвестного грабителя. Пуще других неистовствовала тетя Тоня. Все понимали, что без запасов картофеля ей с сыном не прозимовать. Она работала в банной парикмахерской уборщицей и не раз с горечью повторяла, что, окромя множества вшей да мизерной зарплаты, «пликмахтерская» ей не дает ничего. Колька учился в девятом классе, никакого приварка к хлебным пайкам они не имели, это точно, и перебивались единственно варенной в мундире картошкой, часто без соли. Да и для всех остальных, исключая тетю Машу Бралкову, завмага, потеря даже одного клубня была ощутимой.

Кто же он, этот лиходей, которого за глаза прозвали колорадским жуком? Все бились над неразрешимой загадкой, но...

Бабка Герасимовна высказала предположение, что нашу картошку «жрут хвашишты, што ш хронту утекли». К бабкиным догадкам едва ли кто отнессся серьезно, однако все сходились в мнении, что пакостничает чужой. Тетя Тоня сгоряча даже назвала имя предполагаемого похитителя — старуху Каримовну. Но и в это нельзя было поверить — дряхлая и почти совсем слепая, Каримовна и днем-то не смогла бы выкопать своими негнущимися, с опухшими суставами пальцами даже один клубень.

Изловить! — решили все соседи. А как? Бабка Герасимовна посоветовала поставить на супостата волчий капкан. Но где его достать, этот капкан? И тогда тетя Лида Богатыревич, одинокая бессловесная женщина, обитавшая в крохотной комнатке, похожей на стенной шкаф, предложила наладить ночные сменные дежурства — поочередно.

Мне соображение умной тети Лиды сразу понравилось. И я опередил всех:

— Готов дежурить, как тимуровец, хоть каждую ночь. Пока не захвачу его в плен.

— Милай шин,— умилилась бабка Герасимовна,— боженька тебе поможет ижловить идолищу поганого, живоглота эдакого. Штоб у него, вражины, руки отшохли...

С согласия мамы, на зависть Стасику я перебрался жить в сарай.

Ну и вольница!

Половину всей площади пустого дровяника заняла широченная поломанная «варшавская» кровать с облупленными, когда-то никелированными шарами, обнаруженная мною на дальних чужих задворках.

Под самодельной подушкой у меня хранится бесценное сокровище — наушник, которым я завладел в результате сложного обмена изготовленных мною удилищ и других рыболовных снастей с кроленком в придачу. Теперь без помех можно слушать радиопередачи допоздна. Проводов как раз хватило...

Казалось, беспричинно во мне теми летними днями все чаще возникали и прокатывались бурные волны радости: хотелось громко петь, скакать на одной ноге, карабкаться на высоченные деревья и крыши домов, где много простора, неба, ветра, солнечного света, звучания.

Я наконец-то осознал себя не только равноправным, но и самостоятельным человеком. И не удивительно, что именно мне доверили столь ответственное дело — охрану общественного огорода.

В дощатой стене сарая я выпилил окошечко, сам застеклил его,— отсюда отлично просматривается бóльшая часть грядок — до забора, отделившего наш двор от соседних.

Приладив один конец обрезка водопроводной трубы к верхушке столба, другой я вставил в щель стенки сарая — получился турник. На нем можно подтягиваться и раскачиваться на руках или висеть вниз головой на согнутых коленях. Тут же, рядом с турником, лежат пузатые гири — еще одно мое богатство. Я не ленюсь поднимать их по многу раз — до изнеможения. Каждодневные замеривания бицепсов обрывком портняжного метра однако не показывали желанных результатов. Нетерпение же стать сильным было велико. И я снова и снова поднимал до боли в мышцах чугунные гири с непонятными названиями «1/2 пуда», «10 фунтовъ». Тяжеленную — «1 пудъ» — я еле-еле выжимал над головой обеими руками. Видимо, поэтому меня пуще всего и тянуло к ней. И я тягался с ней, как с противником.

С воспитанием храбрости получилось проще. Самое главное, рассуждал я, надо научиться никого не бояться. Никого! Я не уступал даже заведомо более сильному противнику, предпочитая синяки позорному званию труса. Но у меня была одна слабина, о ней никто, кроме мамы, не знал — боязнь темноты. Ее-то мне и предстояло побороть.

Для начала я в потемках полез на чердак дома,

где находился штаб нашего тимуровского отряда. В кромешной темнотище, вытянув вперед руки, обошел, спотыкаясь, все чердачные закоулки. Не знаю, что со мной стряслось бы, наткнись я на кого-нибудь. Но я не отступил, не повернул к выходу, когда над головой вдруг что-то громко захлопало, со свистом и клекотом. Через мгновение до меня дошло, что это вспугнутые со стропил голуби-новоселы, и лишь тогда я очнулся от оцепенения.

Ночью я заставил себя лазать в густых зарослях сирени. Признаюсь — тоже было жутко. Да и ночевки в сарае оказались не безмятежными — подчас явственно слышались чьи-то шаги, то четкие и уверенные, то легкие, крадущиеся. Желание укрыться одеялом с головой преодолевалось тяжким усилием воли. Еще труднее было встать и выглянуть в окошечко или отворить дверь и выйти во двор. Но я выходил, подавляя страхи.

Днем — другое дело: за огородом мог присматривать даже Стасик. Когда же сумерки прижимались к грядкам, требовался настоящий сторож. Я время от времени обходил по межам все участки. Но вот мрак заливал все вокруг, и только силуэты домов и деревьев различались на свеженаписанном темно-синем небе, мерцали, если приглядеться пристально, россыпи пылевидных бесчисленных звезд. Это зрелище меня завораживало, я подолгу не мог от него оторваться. По тоненькой книжечке Воронцова-Вельяминова мне нравилось отыскивать созвездия со сказочными названиями: Стрелец, Водолей, Дева. Особенно я полюбил «черпаки» Большой и Малой Медведиц. А самым заветным светилом почему-то выбрал большую зеленоватую звезду, висевшую над самым домом. Прищурь глаза — и от светящегося кристалла во все стороны вытянутся лучики-иглы, до самой земли. Но иногда чем дольше я смотрел на зеленую звезду по имени Венера, тем более одиноким сам себе казался. И тем чаще думал о Миле.

В ту пору мне вдруг начали нравиться некоторые, в основном соседские, девчонки, и я испытывал неясное

влечение к ним. Этому притяжению что-то противоборствовало во мне. Наверное, застенчивость. Рядом же с Милой мне было хорошо и спокойно. Непоседа и сорванец, я, оказывается, мог часами разглядывать вместе с Милой большущий том «История гражданской войны» в ярко-красном матерчатом переплете. Не без Милиного участия я еще больше пристрастился к чтению. Книги, которые она давала мне, оказывались необыкновенно интересными. За «Серебряными коньками» и «Маленьким оборвышем» я проводил, перечитывая, дни напролет.

Милу нельзя было назвать красивой девочкой — из-за худобы бледное лицо ее выглядело длинноносым и костистым, а тонкая шея неестественно вытянутой, но дружбу с этой доброй и тихой девочкой я не променял бы ни на чью, будь то даже сказочная королева или соседская, похожая на куклу гордячка Нинка Пальцева. Мила обладала негромким голосом, но каким! С затаенным удовольствием я впитывал каждое произнесенное ею слово, оставаясь молчаливым и робким, что никак не вязалось с повседневным моим поведением.

О нашей дружбе я никому из знакомых ребят и не заикался, понимая, что откровенный рассказ вызовет лишь насмешки. Да и язык не повернулся бы кому-то о своих необыкновенных переживаниях поведать.

Чего никогда не бывало раньше, я стал иногда рассматривать свое отражение в бабушкином старинном большущем зеркале и расчесывать маминой костяной гребенкой непокорные густые вихры.

И впервые не пожелал постричься к лету наголо, под нулевку.

Моей гордостью и постоянной заботой — подшивание свежего воротничка, глаженье углевым утюгом — стали полученные мамой в госпитале за ударный безвозмездный труд солдатская гимнастерка и галифе. Не новая, простреленная в нескольких местах, разорванная осколками металла и аккуратно заштопанная мамой, настоящая фронтовая форма наполняла меня гордостью, и дру-

зья завидовали мне. В ней я себя чувствовал совсем другим человеком — способным совершить нечто героическое.

Однако в последнее время я стеснялся попадаться в этой форме на глаза Миле, потому что обувь — старые, растоптанные, не раз ремонтированные сандалии — ну никак не шла к галифе и доблестной гимнастерке, затянутой в поясе матерчатым широким ремнем с сияющей латунной бляхой, на которой рельефно выделялась пятиконечная звезда. А о кирзовых сапогах я и мечтать не смел, на базаре они стоили баснословно дорого — не хватило бы целиком маминой получки. Огород же я стерег только во фронтовой форме.

Захватив, как всегда, большой ивовый лук и колчан с оперенными стрелами, я трижды за вечер обошел весь огород вдоль забора, до зуда нажалив крапивой ноги. Убедившись, что на участках полный порядок и все вокруг спит, я отправился в дровяник. Уснуть долго не давали обожженные до волдырей ноги. Забылся я только под утро, обернув ступни холодными листьями лопухов.

Приснился мне интереснейший, как кино, сон. Бегу будто бы я босиком по проезжей части нашей улицы, к своему дому, легко бегу, плавно и медленно, отталкиваясь от горячих булыжников. И вот, распластав руки, оторвался от земли и... полетел. Чтобы поддерживать парение, достаточно лишь ненатужного движения рук, как при плавании «по-моряцки». Ликование наполняет всего меня, распирает грудь. Разгребая впереди себя тугой воздух, поднимаюсь выше и выше. Внизу проплывают крыши знакомых домов. Трамвай оранжевой гусеницей ползет справа, по улице имени Карла Маркса. Люди, размером с букашек, движутся туда-сюда по канавкам, разделяющим кварталы строений. А там, слева, на садеострове, зеленеют купы карликовых тополей и блестит под солнцем серая лента реки.

Упоенный высотой, неоглядным простором и способностью свободно плавать в воздухе, зажмуриваю гла-

за от солнышка, пикирую вниз, на свой двор. Дух захватывает, как на качелях. Эх, взять бы Милу за руку и взмыть под облака и еще раз увидеть эту красотищу — вместе. Вот здорово было бы!

А в ушах поет ветер, и даже не ветер — звучат оркестром небо и земля. Звуки сплетаются в чудесную, не слышанную никогда музыку. Раскрываю глаза: меня ослепляет солнечный луч, пробившийся в щель стены.

Но разбудил меня не только яркий свет — из черной эбонитовой коробочки наушника льется сказочной красоты музыка, такая же радостная и светлая, как само утро.

Из оркестровой мелодии плавно пророс и расцвел синим колокольцем женский грудной голос, голубым мягким светом устремился ввысь, загрустил, желтым теплым дождем ниспадая на землю, с трогательной откровенностью рассказывая о ком-то дорогом, кого нет рядом, но долгожданная встреча с кем непременно произойдет, лишь только пройдет осень и зима пролетит. Но зима уже давно и безвозвратно прошла, и меня ждет что-то такое грандиозное, чего еще не бывало в жизни моей.

Я не шелохнулся до тех пор, пока последний звук, тонкий и нежный, не растаял совсем. В эти дивные мгновения я видел своими душевными очами прозрачное лицо Милы с всегдашней легкой улыбкой в уголках губ. И мне впервые так неодолимо захотелось увидеть ее — немедленно. И я уже отбросил одеяло и опустил ноги на земляной пол, когда послышались частые шаги, громкий стук в дверь и пронзительный голос тети Тони:

— Эй, охранник, тута ли?

Я откликнулся.

— Подь-ка сюды.

Последнюю фразу соседка произнесла с такой недоброй интонацией, что неприятное предчувствие слегка сдавило грудь. Вскоре оно неумолимо оправдалось. Тетя Тоня позвала меня к грядке Герасимовны, и старуха, разгневанная, с мокрыми от слез и потому еще более

сморщенными щеками, набросилась на меня, укоряя и стыдя:

— Ах ты, варнак такой-шякой, шпун нешшашный! Так-то ты наше добро штережешь! Швое-то, небошь, шберег, у-у! Лешов шын...

И понесла, и понесла... Тетя Тоня ловко заполняла паузы, кляла меня на чем свет стоит и требовала немедленно выгнать из сторожей поганой метлой. Ошарашенный, я молчал — стыд жег лицо.

— Своих шесть кустов отдашь,— вынесла приговор тетя Тоня.— Так матери и передай, что обчество решило.

Я едва не заревел от обиды — какое несчастье для нас! Шесть кустов! Нет, я поймаю этого гада, хватит!

Весь день я только и размышлял о поимке вора и придумал. Когда стемнело, я соорудил в дальнем углу двора шалашик из бодылья подсолнухов и сухой ботвы и залег в нем, вооружившись многократно испытанным луком и стрелами с острыми наконечниками из жести, залитыми свинцом. Такая стрела с десяти шагов насквозь пробивала консервную банку!

Ночь — это вовсе не тишина. Пространство вокруг пронизано звуками: нудно пищат комары, поскрипывает сверчок, ветер вдруг неожиданно зашуршит ботвой, всколыхнет ее. Сыплющиеся шорохи и шелест доносятся от уличных тополей. Или вдруг лениво забрешет — где-то на дальней улице — тоже недремлющая собака.

Наш дом, кажущийся в потемках громоздким и массивным, словно бы распухшим, затих, лишь одно окно освещено. Сквозь прозрачные занавески вижу неподвижно склонившуюся над столом Милу. Она читает книгу, подперев подбородок ладонями.

С громко стучащим от волнения сердцем, сознавая, что совершаю нечто постыдное — подсматривать нехорошо! — выбираюсь из шалашика и ложусь в борозду напротив Милиного окна.

Как же это отрадно: видеть, пусть издалека, Милочку. Я испытываю к ней благодарность за неизменную добро-



ту и внимательность ко мне, и досада гложет, что нельзя быть вместе с ней всегда, и что-то такое волнами бродит во мне, распирающее, необъяснимое словами, и притягивает к этой нескладной, немного сутулой девочке, заставляет часто думать о ней.

Лучшего и не пожелаешь, чем это: здорово было бы жить нашим семьям в одной большой комнате. Тогда хоть целыми днями смотри на Милу. Больше мне ничего не надо. Но я-то знаю — моя мечта неосуществима. Безнадежность порождает печаль, почти скорбь.

Мила встает из-за стола, затворяет окно, скидывает платьишко, оставаясь в маечке и трусиках, и выключает лампу под апельсиновым шелковым абажуром.

Я один-одинешенек. От меня, лежащего на спине в борозде, и до зеленого глаза звезды — холодная пустота, и ничего нет, ни одного живого существа. Мне становится очень неуютно и зябко, даже тоскливо. Рыхлая земля дышит сыростью, и от нее веет многочисленными — земляными — запахами. Я снова всматриваюсь в черноту Милиного окна, надеясь, что в нем опять вспыхнет электричество. Тщетно.

Мне думается, что, если б не Мила, я остался бы совсем, ну совершенно одиноким. Леденящее чувство неприкаянности постепенно растворяется, в воображении возникает спящий братишка, озабоченное лицо мамы. Очень хочется в согретую постель, под бок Стасика, устроиться поудобнее и замереть в блаженном ожидании завтрашнего пробуждения. Но нельзя подняться и уйти. И я снова разглядываю звезды и слушаю ночь. Как кстати, что она-то не спит, шурша и нашептывая свое, непонятное и таинственное.

Но что это? Или мне побластилось? В привычные звуки вмешались посторонние, незнакомые! Я насторожился и прислушался внимательнее. Да, это — шебуршание, оно слышится все отчетливее, оно приближается. Время, отмеряемое ударами сердца, тянется бесконечно долго — еле сдерживаю нетерпение ускорить ход надви-

гающегося «чего-то». Отжимаюсь ладонями от земли, вытягиваю шею, но ничего ожидаемого подозрительного не вижу. Лунные блики матово мерцают на картофельной листве. А шорохи множатся, по капле заполняя меня страхом неизвестности происходящего «там», впереди. Терпение кончилось. Я вскакиваю и, быстро зарядив стрелу, отчаянно натягиваю тетиву. Одновременно вижу — справа резко качнулась ботва, и это не ветер. Там кто-то есть, затаился, замер...

— Кто здесь? — выкрикиваю срывающимся голосом.— Стрелять буду!

В ответ — тишина. Но что-то, какая-то серая масса все же просматривается смутно сквозь листву, на грядке. Делаю шаг, другой в направлении жуткого «чего-то». Пальцы на тетиве онемели, не чувствуют зажатую меж ними стрелу.

Я вздрогнул, словно пальцы в электророзетку сунул, и напрягся всем телом, когда раздался испуганный женский голос:

— Кто-й то?!

В трех шагах передо мной вдруг кто-то быстро вскочил и, пригибаясь, запетлял к дому.

— Тетя Тоня! — наконец-то осознал я, уже вскинув лук вслед удаляющейся фигуре. И... отпустил тетиву, медленно ослабил. Неужели это она? Не может быть...

Пока в растерянности решал, кто это и что мне делать, резко хлопнула дверь. Я запоздало бросился к дому, но дверь уже закрючили. На стук в окно тетя Тоня не отвечала, за стеклом густо темнела вязкая тишина. Мне стало не по себе: не привиделось ли все это?

Остатки ночи провел в сарае, и мутный страх не покидал меня, однако домой не пошел, как ни хотелось. Едва рассвело, я убедился, что ночной гостьей была тетя Тоня, и никто другой. В мокрой от росы ботве лежала брошенная синяя с черными выщербинами эмалированная посудина, рядом валялось несколько розовых картофелин. Чашку эту я множество раз видел на столе у Кольки.

В этот раз пострадала посадка Бралковых, и мне не терпелось побыстрее возвратить им мой трофей. К тете Тоне я не испытывал той злости, которую возбудил во мне наш еще вчера неведомый разоритель. Меня терзал мучительный вопрос: как она посмела, как смогла? Разве не она, брызгая слюной и размахивая короткими руками, клеймила ворюгу, нагло обкрадывавшего, лишавшего нас пищи? И мне никак не удавалось соединить в своем сознании ту яростную тетю Тоню и трусливо убегающую согбенную фигуру.

Первой о ночном происшествии я взахлеб рассказал маме и, конечно, показал миску с картофелинами. Мама выслушала меня с досадой и недоверием:

— Гера,— сказала она раздраженно,— такого быть не может.

— Может,— упорствовал я.— Сам видел.

— В темноте ты вполне мог ошибиться.

— А голос? Голос-то — ее.

— Гера, есть очень похожие голоса. А такое на человека напрасно возвести... Ты не представляешь, какой это непростимый поступок.— И решительно предложила: — Идем.

— Тоня, ты ночью, случаем, не выходила в огород? — смущенно спросила она, когда мы зашли к Короеловым в комнату.

— А што мне там иделать? Ночью-то?

Она вперилась в меня своими маленькими светлыми глазками в белесых ресницах с такой ненавистью, что я даже отступил к двери, и вдруг напустилась:

— Этто почему у тебя наша миска? Пошто чужие вещи хваташь? Положь чичас же на место в колидор, на ларь, где была.

— Отдай,— облегченно вздохнув, сказала мама.— Слышал? Тетя Тоня ночью никуда не выходила.

А я усиленно соображал, как же так получается: значит, я взял без спроса чужую вещь, а не подобрал ее на грядке? А вчера вечером миска еще находилась здесь, в комнате, я это хорошо помню.

Тетя Тоня рванула из моей руки посудину и просипела:

— Я тебе покажу, обормот ты этакий, как на меня клепать. Сказано тебе: никуда я не выходила. Обознался ты.

— Не выходила, а выползала! И картошку рыла у Бралковых,— неожиданно для себя произнес я громко, уверенно, воинственно.

— Замолчи! — закричала мама и ударила меня ладонью по щеке.— Замолчи сейчас же! Извини, Тоня, он сам не понимает, что говорит. Прости его — несмышленыш еще.

— И дерзкай,— мстительно, сквозь зубы процедила тетя Тоня.— Мало его понужаешь, Вера. Чаще лупцуй, быстряя поумнеет. Вон мой Колька и рот не раззявит при людях, потому колочу его как сидорову козу.

Выбежав от соседей, я помчался в сарай и закрылся в нем на засов-деревяшку. И только тогда слезы хлынули из моих глаз неудержимо. Я рыдал от захлестнувшей меня обиды. Стыдно было за мамину пощечину, и более того жгла мысль, что я не виноват, а — прав. Я чистую правду говорил!

«Ты сама мне все время повторяешь,— мысленно обращался я к маме,— чтобы я никогда не лгал. Почему ж тогда мне не веришь? Да еще наказываешь! За что? Почему ей верят, а мне нет? — размышлял я, утерев слезы.— Потому что я — пацан, а она — взрослая? Это нечестно! И глупо».

Вскоре под дверью сарая объявилась тетя Тоня и всячески стала поносить меня, обещала уши надрать и чуб вырвать.

Тут и Колька заглянул в окошечко и прошептал:

— Только выйди — морду разобью, стор-рож...

Но я вышел. Хотя и боязно было, пересилил себя, чтобы Колька видел, что не страшусь его. Боязнь сразу улетучилась, как только Ржавец, так дразнили Кольку за рыжеватые волосы и красные обильные веснушки по

всему лицу, саданул мне кулаком в грудь. Колька вымахал на две головы выше меня, и руки у него выросли длиннющие, и хлестал он зло и больно, однако я, распалившись, ловко давал сдачи, уворачиваясь от ударов. Несомненно, Колька крепко поколотил бы меня, но мне удалось расквасить ему нос. Он зажал его пальцами и, пригрозив расправиться после, убежал к себе. Я забрался на крышу дровяника в ожидании возвращения Кольки. Но явилась тетя Тоня. Она безудержно ругала меня и, не принимая во внимание то, что ее сынок, а не я, учинил потасовку, грозила милицией. Это меня возмутило еще сильнее, и я крикнул:

— Это ты украла картошку! Воровка! Я об этом всем скажу.

Никогда прежде я не смел заявить такое взрослым, а тут не сдержался, выпалил.

Тетя Тоня испуганно оглянулась — не слышал ли кто из соседей — и тихонечко пристращала:

— Ты еще меня попомнишь...

(Впоследствии, несколько лет спустя, она сдержала свою посулу.)

Тетя Тоня, а ее никто за язык не тянул, всем соседям жаловалась на меня, уверяя, что ночью никуда из дому и на «один секунд» не отлучалась. Даже по нужде. А я напраслину придумал, будто она картошку подкапывала — по злу оклеветал. Соседки ей верили. Такой вывод я сделал, потому что отношение ко мне заметно изменилось к худшему. Однако самым тягостным для меня получился разговор с Милой. Она остановилась при встрече во дворе, поздоровалась и, укоризненно глядя на меня, произнесла:

— Гера, ну зачем ты так обидел тетю Тоню? Она даже плакала... Нехорошо поступил. Мне стыдно за тебя.

— Да я ничего,— пролепетал я.— Я вовсе не хотел...

— Ты должен перед ней извиниться,— тихо, но настойчиво потребовала она.

— Нет,— отрезал я.— Нет...

— Если ты этого не сделаешь, я не смогу с тобой... дружить...

Я не произнес в ответ ничего, не нашлось подходящих слов, только отошел в сторону с тропки, пропустил Милу к воротам, с трепетом глядя ей вслед. Муторно мне стало, ох муторно.

Однако я и мысли не допускал, что заставлю себя извиниться перед тетей Тоней,— ни за что! После этой короткой беседы Мила действительно прекратила со мной здороваться и заговаривать, что сильно уязвило меня и расстроило. Наверное, лучше для меня было бы извиниться, признав свою ошибку, но ведь я солгал бы! Нет, пусть будет так, как есть,— правда! Поддержал меня лишь верный друг Юнька Бобыньков, но и тот упрекнул:

— Почему не стрелял? Всадил бы ей по самое перо — и пусть попробовала бы отпереться. Эх, слабак...

Не знал и не догадывался Юнька, что не мог я пустить боевую стрелу в тетю Тоню, рука не повиновалась.

О своих переживаниях после крушения дружбы с Милой я никому не обмолвился, даже Юньке. И от великого горя вдруг начал сочинять стихи. Однажды вечером на ум пришли две немудрящие рифмованные строчки, за ними, к удивлению, последовали и другие, и вскоре на листе оказалось написанным целое стихотворение. Конечно же, оно было обращено к Миле. В этом и других стихах от первого лица искренне рассказывалось о том, что никто не способен понять моих терзаний и что роковая любовь навеки останется неразделенной, такова печальная судьба автора. Из-за безответной любви, утверждалось в одном из посланий «К М...», жизнь стала тягостно скучной и бесцельной, и тщетно в ней что-то искать, не на что надеяться... Все испытано, все прошло...

Удивительно быстро, недели за две, стихи заполнили

толстую тетрадь в клеточку, предназначенную для алгебры и геометрии. У всех рифмованных излияний имелся адресат, но вручить тетрадь или даже единый листочек решимости у творца не хватило. К тому же для меня настали тяжелые дни. На себе я ощущал не только постоянно враждебное отношение тети Тони, неожиданные, из-за угла, тычки и оплеухи Кольки Ржавца, но и отчужденность и недружелюбие других соседей. С Милой мы не общались, и я не искал примирения, хотя меня по-прежнему неодолимо влекло к ней, а во время случайных и выискиваемых мною встреч, когда можно было объясниться, во мне все сжималось и дыхание спирало. И я молчал. Правда, через некоторое время Мила первой сказала мне «Здравствуй», я с радостным удивлением ответил на приветствие, однако не отважился остановить ее и заговорить о чем-либо.

К себе в сарай я непременно выбирал окружной путь мимо Милиного окна и чувствовал себя счастливым, если удавалось увидеть ее лицо.

Когда темнело, я вдоль забора пробирался тайком к месту, откуда достаточно просматривалась комната Бралковых, и время летело стремглав — и час, и два, и больше... Мама, наверное, заметила изменившееся в чем-то мое поведение и несколько раз допытывалась, что со мной происходит. Что я мог ответить? Мучаясь сознанием, что унизился до лжи, я все же скрывал от мамы свои переживания. В одном я был уверен, что люблю Милу. И чем чаще я думал о ней, тем невероятнее казалась мысль, что у меня хватит решимости признаться в этом кому бы то ни было и — уж что вовсе несбыточно — самой Миле. Это была самая сокровенная моя тайна.

Прижавшись спиной к заплоту, подолгу простаивал, любуясь Милой, пока в комнате не гас свет. И удивительно, что никто из соседей не застал меня за бдением. Впрочем, тетя Лида однажды полюбопытствовала, что я делаю столь поздно во дворе. Смутившись, я все же нашелся:

— Огород стерегу.

Ответ выглядел убедительно: после памятного ночного происшествия уже никто не покушался на наш урожай. Может быть, это совпадение и заставило кое-кого из соседей задуматься над тем, что же в действительности произошло в ту ночь. Герасимовна, ковыляя с клюкой, как всегда, в магазинную очередь, мимоходом похвалила:

— Молодещ, Егорка. Не побоялша шупротив пойти, дай бог тебе шаштья.

Бабкина похвала натолкнула меня на догадку, что она верит мне, а не тете Тоне, а прямо об этом сказать не пожелала, побоялась ядовитого тети Тониного языка. Как же я обрадовался тогда!

А мама ни единым словом больше не напоминала о происшедшем. В ее отношении ко мне я улавливал что-то похожее на скрываемую жалость. Может быть, она чувствовала себя виноватой? Однажды она неожиданно прижала меня к груди и, обхватив мою голову, долго гладила волосы, а после, глядя мне в глаза, сказала:

— Прости, сынок, если ненароком обидела. Ты у меня — хороший, я знаю.

И мне подумалось, что она хочет, чтобы я ее простил за то незаслуженное наказание, и слезы из глаз моих неудержимо хлынули на мамино плечо. А она меня гладила и повторяла:

— Ты у меня хороший, хороший...

Не часто в мальчишеские годы выпадали мне похвалы взрослых, материнские — тоже. Чаще приходилось слышать нудные назидания, понукания и слова осуждения: то выполнил не так, это упустил, там напроказничал, того не послушался и все такое прочее. Подобное пристрастное и недоброе отношение отталкивало меня от взрослых, и мне все чаще приходилось решать возникающие жизненные задачи. Разумеется, я — и довольно часто — ошибался, и снова — обвинения и наказания. К ним я не мог привыкнуть, не хотел ни в какую,

особенно к явно незаслуженным обидам. Хотя мне и внушали: то, что говорят и делают взрослые,— все правильно, и сомневаться в этом нельзя. Эти «правильности» иногда доводили до слез, которых с недавних пор я стал стыдиться, и последние года два плакал довольно редко — крепился.

Уединившись в сарайку, на сей раз я дал волю слезам — ведь признала мою правоту и даже похвалила мама. Значит, напрасно тогда хлестанула меня. При посторонних. Я успокоился и почувствовал в себе новые силы. Мне поверилось, что я способен совершить что-то необычное, очень хорошее, чем окружающие восхитятся и скажут: «А Гера-то Долгов смотрите каков... Напрасно мы о нем худо думали...»

Мне очень хотелось, чтобы в этом убедилась Мила. Но что именно совершить? Война закончилась в прошлом году, и бесполезно представлять себя храбро сражающимся с фашистами. Других — настоящих! — подвигов я не знал.

В тот вечер я не пошел спать в сарайку, а лег вместе со Стаськой, который, как всегда, быстрехонько заснул. А я долго лежал в темноте с открытыми глазами, мне было так покойно и блаженно. Я уверился, что в огород уже не вползет ни один паразит. И еще я решил, что никогда более не загляну в Милино окошко. Но мысленно увидел себя возле него. И там, в большой комнате за столом под апельсиновым абажуром, сидела, склонившись над открытой книгой, русоволосая девочка, тихая и добрая, и она находилась как бы совсем рядом — протяни ладонь и дотронешься до ее руки. Я терпеливо, с затаенным ликованием ждал, когда она поднимет свои веселые голубые глаза и посмотрит на меня, но так и не дождался...

Тем временем надо мной собирались грозовые тучи. Их усиленно нагоняла неугомонная тетя Тоня. Чего только она не выдумывала обо мне! Наконец Короелова, как председатель домового комитета, объявила об общем и обязательном собрании жильцов.

И вот непоздним воскресным вечером я впервые после Победы вижу всех обитателей нашего дома одновременно. В ожидании, когда деловитая преддомкома откроет собрание, женщины беседуют о всякой всячине, как бы не замечая меня. А я ведь знаю, что разговор пойдет обо мне, о чем оповещены и собравшиеся. Предчувствие нависшей опасности не оставляет меня ни на миг. Я всматриваюсь в лица женщин, пытаясь разгадать, что они задумали. Я не боюсь каждую из них в отдельности, даже всемогущую завпродмага, а сейчас осознал свою беззащитность и опасность объединенных замыслами взрослых. Правда, на собрание явился и Колька, смирнехонько примостившийся на табуретке возле своей уже торжествующей мамаши.

Тетя Тоня, непонятно для чего, водрузила на кухонную плиту вымпел, полученный еще до войны в каком-то жэковском соревновании. Рядом лежат листы оберточной бумаги и карандаш, стоит пузатый водочный графин, весь в сверкающих трещинах, и граненый стакан.

— Товарищи женчины,— неестественно праздничным голосом произносит тетя Тоня.— Мы собралися, штобы решить два важных вопроса: о переносе обчественной уборной на другое место и о фулюганском поступке Егорки Долгова, который должон понести суровое наказание за свое недопустимое в нашем обчестве фулюганство.

Ораторша попыталась быстренько покончить с первым вопросом, но не тут-то было.

Бабка Герасимовна, до того, закатив глаза, рахваливавшая «белай, как шнег, камершешкай хлеб», который «выкинули» в коммерческом магазине, насторожилась и выкрикнула тонким голоском:

— Это пошто жа на наши-те кровны деньги уборну туды-шюды ташкать? Шлава богу, она далеко на вжгорке штоит, никому шолнышко не жашлоняет. Да и то шкажать, давно ли яму рыли липатрированные. Копачам ить по полбуханки ш кажинной шемьи ликвижиро-

вали. А они, буханки-те, шай, на огороде не раштут.

— Граждане жильцы,— вдохновенно и звонко продекламировала тетя Тоня,— подумайте сами: кому понравится, ежели уборна перед окошком стоит? Из нее вонишша, и мухи летят роем прямо на стол. Потому-то уборну надо перенести...

— И кому же этто мухи помешали, божии твари бежобидные?— не сдавалась бабка.

— Кому? Да, к примеру, уважаемой Марье Лексевне. Из ееного окошка и вид на уборну, как все в ее спешат и помои ташшат. А Марья Лексевна человек культурный — в торговле работает, и каково ей такое из собственного окошка кажинный день видеть?

Бабка Герасимовна, почти всегда такая приниженно-суетливая и подхалимистая перед высокомерной и чванливой завмагом Бралковой, сейчас воспротивилась навязываемому тетей Тоней «решению вопроса».

— Уважаему Марью Лекшевну мухи кушают, пушшай тады она нанимает липатрированных и рашплашиватша. А нам негде таки капиталы вжять.

Бабка, выговорившись, умолкла. Взгляды всех обратились к Бралковой, но та, спокойно выслушав взволнованные бабкины речи, лишь чуть сморщила в брезгливой гримасе гладкое, ухоженное кремами, до отвращения красивое лицо и не сочла нужным и слово потратить. За уважаемого завмага после длительной неловкой паузы ответила услужливая и говорливая преддомкома.

— Гражданы женчины. Обчественное мнение такое: переставить уборну на другое место. Кто — за? Единогласно.

— Подожди, Тоня, не спеши,— возразила рассудительная тетя Лида Богатыревич.— Ты настойчиво предлагаешь перенести клозет. А куда конкретно? Ведь куда его ни поставь, он в чье-то окно будет виден.

— А у тебя вовсе и окошка-то нету. Ты, Лидия, как в чемойдане живешь,— злорадно прервала тетю Лиду преддомкома.— Чего ты за других-то переживаешь?

Ты за себя, а не за других думай. Други сами за себя подумают.

— Я уверена,— не смущаясь, продолжала тетя Лида,— что выражу мнение большинства, предложив записать в решение собрания: перенести общественный клозет к забору напротив окон Короеловых, выполнив все работы за счет Бралковой. Кто за это предложение, голосуйте.

Предложение тети Лиды, несмотря на протесты председательницы собрания, утвердили большинством голосов. Против высказались тетя Тоня и завмаг. Колька, выполнявший обязанности писаря, ибо мать его была малограмотной, растерялся.

— Записывай, Коля, как решило собрание,— поднукнула его тетя Лида.

— Где же справедливость, бабы?— театрально завопила тетя Тоня, воздев руки.— А почто, спрашивается, под мои окошки?

— Да потому, как ты верно подметила, нет у меня не то что окна, даже форточки,— улыбаясь, ответила тетя Лида.— А тебя Бралкова не забудет, по блату отоварит.

Преддомкома, словно чего-то испугавшись, прекратила пререкания и объявила:

— А теперича, граждане жильцы, обсудим фулюганский поступок Егорки Долгова...

И тетя Тоня, захлебываясь, поведала о ночном происшествии: о похищении мною ее эмалированной миски, в которую я сложил выкопанную мною же с бралковской грядки картошку. Все это, оказывается, я сделал с коварной целью — оклеветать преддомкома как общественную деятельницу. Не забыла она красочно расписать и «бандитское» нападение на паиньку Кольку, который получил «увечье носа». А Колька, скромно потупив взор, пощупал свой совершенно здоровый конопатый носище, как бы подтверждая слова матери.

Не переводя духа, она подытожила:

— По этому по всему обчее собрание граждан жильцов нашего дома решило просить милицию привлечь Долгова Егорку за клевету на честную гражданку по всей строгости закона и отправить его в детскую колонию. Туды таких берут, я разузнала где следует. В обчем, все ясно. Кто — за?

До меня не сразу дошел зловещий смысл этих требований, а когда я понял, какую беду кличет на мою голову тетя Тоня, то все во мне возмутилось и взбунтовалось. Меня не испугала замаячившая впереди колония. Ужаснуло иное: вдруг присутствующие поверят чудовищной лжи, поверят в то, чего я не совершал и не мог совершить?!

Наверное, у меня был испуганный и растерянный вид, чем немедленно и воспользовалась Короелова:

— Чего ты скукожился? Чай, знает кошка, чье мясо съела...

Под взглядом присутствующих я словно одеревенел и не мог вымолвить и слова в свою защиту.

Перед глазами мелькали лица, и длилось это мельтешение невыносимо долго, хотя не прошло, вероятно, и минуты. И вдруг я увидел Милу. Сначала я не узнал ее — девочка не улыбалась, как всегда, а очень серьезно и пристально вглядывалась в меня. Такой я не видал ее никогда.

— Погодь-ка, погодь. Как же так, бабы, жараж и — в тюрьму? Пушшай парнишка ражобяшнит, как вше было.

— Антонина Петровна донесла нам обо всем, больше ничего не требуется,— ровным, сильным голосом произнесла Бралкова.— Давайте проголосуем побыстрее, а то у каждого есть и более важные дела.

Лицо ее было спокойно и холодно.

— Ну, кто — за?— по-базарному весело выкликнула преддомкома.

Руку подняла пожилая тетя Глаша, сестра тети Тони, опоздавшая к началу собрания. Она жила в нашем дворе,

но в другом доме, собственном, выходившем окнами на улицу, и не имела права голосовать, однако это до меня дошло позднее. Вслед за ней взметнула обе руки и тетя Тоня. И Колька, будто о парту оперся локтями, тоже проголосовал за. Изящно выпрямила ладонь на уровне плеча и завмаг.

— Это — нарушение демократии,— громко сказала тетя Лида.— Почему затыкаете рот тому, кого обвиняете бог знает в чем?

— Ты што — против обчества выступаешь?— взорвалась тетя Тоня.— Твово мужика забрали в тридцать седьмом, и ты така же. Так што молчи лучче. Де-мо-кра-тия объявилась, гляньте на ее. А то быстро на тебя управу найдем...

— Будет тебе, Тоня,— урезонила преддомкома бабка Герасимовна.— Она в войну иж жавода не выходила, бонбы делала, а не вшивые волошья веником жгребала. И ты ее мужиком не пеняй.

— А мой мужик на хронте, без вести пропал,— взъерепенилась тетя Тоня.— Ееный — в тюрьме, а мой — на хронте.

— Карты-те што тебе кажут? Живой мужик твой. Мож быть, и в полоне. А Броня Богатыревич в жемле широй лежит, хвашиштом убитый. Так-то вот,— вступилась бабка.

— Прасковья Герасимовна, не надо,— взмолилась тетя Лида.— Только не здесь, ради бога...

— Я го́рю Лидиному сочувствую. Как мать,— лживо просюсюкала, глядя куда-то вбок, тетя Тоня.— Но зачем она здеся демократию разводит?

Я не знал, о чем они спорят, слово «демократия» мне ни о чем не говорило, но я сразу уверовал, что это хорошее, справедливое слово, вроде «правды». И еще я почувствовал, что сейчас решается моя участь. И, преодолев парализующую немоту, внятно произнес:

— Это неправда, что говорит тетя Тоня. Я не копал чужую картошку. Не брал теть Тонину миску. Я ее

на полосе подобрал. Когда тетя Тоня убежала с огорода к себе домой.

И, опять встретившись взглядом с Милой, сказал:

— Честное пионерское...

Думал я лишь об одном, чтобы Мила мне поверила. Пусть только она одна, но поверила бы. Мне ее вера нужна была пуще всего.

— Послушайте меня, женщины,— опять вступила в спор завмаг.— Скажите, кому мы обязаны верить: взрослому, заслуженному человеку, честной труженице...

— У меня грамота есть из пликмахтерской,— поспешно вставила тетя Тоня.

— ...или этому хулигану,— продолжила завмаг властным голосом.— Неужели мы поставим под сомнение авторитет председателя домового комитета в угоду, извините за выражение, сопливому мальчишке?

В наступившую короткую паузу произошло то, отчего я весь содрогнулся,— я услышал тихий Милин голос:

— Правду говорит Гера. Он ни в чем не виноват.

У всех на виду Бралкова схватила дочь за руку, резко и сильно рванула к двери, распахнула ее и втолкнула Милу в кухоньку.

— Дур-ра,— пророкотала завмаг и бросила присутствующим:— Не обращайте внимания. Долгов тоже пусть уйдет. Это непедагогично — в присутствии детей обсуждать такие важные вопросы.

И тут я вспомнил о маме. Почему она молчит, словно в рот воды набрала? Я взглянул на нее... Она оцепенело стояла, прислонившись спиной к нашей печке-голландке, очень бледная и как бы отрешенная от происходящего.

— Сынок, иди в комнату,— велела она мне.

Я повиновался. Но дома не задержался. Подхлестываемый возбуждением, вылез из окна и побежал в сарай. Но возле кухонного окна остановился, подошел и стал слушать — форточка была открыта. Я слушал сперва рассеянно и одновременно думал о Миле. Мне было

мучительно грустно думать о ней и необычайно радостно. Никогда она еще не представлялась мне такой прекрасной, словно нарисованная прозрачными, чистыми красками из цветного воздуха, но одновременно она была живой — дышала и двигалась. И как чудесно светились ее глаза, когда она, задумавшись о чем-то, глядела будто внутрь себя... И тут я догадался, на чей портрет она похожа, моя Милочка,— на тот, что в щепу превратила и сожгла моя мама. И радость пронзила меня — будто не сгорел он, тот портрет, не сгорел!

А как ее сграбастала Марья Алексеевна! От такой обиды Мила, наверное, плачет! И я никак не могу ее защитить! И это еще страшнее, чем самому быть беззащитным.

Если тетя Тоня и Бралкова настоят на отправлении меня в колонию для малолетних, я убегу из дому. Уеду из Челябы вовсе. И никто меня не найдет, даже Бралкова!

И тут я отчетливо услышал распаленные спором голоса:

— То, что вы, Антонина Петровна, пытаетесь учинить здесь над моим сыном неправедное судилище, кощунство над всеми нами.

Это говорила моя мама! Ее голос. Как она меня защищает!

— Гляньте, как свово сына выгораживает,— выкрикнула тетя Тоня, взывая к сочувствию присутствовавших.

— Да, он мой сын, и я не отдам его вам на поругание. И не будь он сыном, я точно так же поступила бы, потому что, повторяю, вы, Антонина Петровна, и вы, Марья Алексеевна, вместе творите зло, несправедливость. Давайте будем рассуждать здраво. Мог ли Георгий выдумать столь хитроумную интригу и зачем ему она понадобилась? Как мать, я его знаю — не мог. Да и ни к чему это ему.

— Он хочет меня скомплементировать, быдто я ночью в огород шастала. А это была не я. Не знаю кто, но не я,— отчаянно лгала тетя Тоня.

— Даже если не вы ночью выкопали чужой картофель и Гера ошибся, то кто вам дал право голословно обвинять его в краже? Где хоть одно доказательство его виновности? Их нет. И вы напрасно пытаетесь черное превратить в белое и наоборот, вас никто из честных людей не поддержит. А вот к вам есть один вопрос: как могла ваша эмалированная чашка, которую я накануне видела у вас на столе, оказаться на грядке Бралковой, кто, кроме вас, мог ее вынести из вашей квартиры поздно ночью?

— Не знаю кто, не знаю,— завизжала тетя Тоня.

— Не знаете? А теперь пусть любой из здесь находящихся назовет хотя бы один факт, чтобы Гера сказал неправду.

— Все врут,— отрезала тетя Тоня убежденно.— Все.

— По себе обо всех не судите,— сказала тетя Лида.

— И вы, Антонина Петровна,— продолжила мама,— чтобы обелить себя, готовы загубить жизнь человека. Ведь ребенок — человек! И какой пример вы подаете своему сыну? До какого падения докатились, если решились на подобное злодеяние!

Тетя Тоня не однажды порывалась что-то промямлить, но мама не позволяла прервать себя. Да и что та могла сказать дельного в свое оправдание? Поэтому, видимо, припертая к стенке, она ляпнула несусветную глупость:

— Зачем мне чужи картошки? На трахмал трать, ли чо ли?

Первой поддержала маму бабка Герасимовна.

— Я эдак же про шебя покумекала: пошто Егорке вше это придумывать? Ни к шему. Ты уж, Тоня, мила дошь, по-хорошему повинилашь бы: был грех, попутала нешиштая шила. А то робенка опоганила ни жа што.

— Вы все с ним заодно, с фулюганом... Я вас всех на чисту воду выведу!— выкрикнула угрожающе преддомкома.— Я до Москвы дойду... До самого товарища Сталина!

И тут произошло самое забавное. Тетя Лида со словами: «Вот это мы и занесем в протокол собрания» взяла с кухонной плиты исписанные листки. Часть их оказалась заполненной чернилами, да и почерк отличался от Колькиного. Это сразу заметила наблюдательная тетя Лида, не напрасно ей доверили на заводе должность контролера-браковщика. (Это уже мама после рассказала.)

Не обращая внимания на протесты тети Тони, она зачитала вслух содержание листков. Это было заранее составленное постановление общего собрания жильцов дома. В документе «единогласно» подтверждалась моя виновность в краже и клевете и столь же «единодушно» одобрялось перенесение уборной из-под окон гр. Бралковой М. А. под окна гр. Прокопьевой П. Г. — бабки Герасимовны.

— Дай-ка мне шуды энту филькину грамоту,— взвыла бабка после прочтения лжепостановления и, схватив листки скрюченными пальцами, искромсала в клочья, а после еще и на обрывках потопталась чунями, приговаривая:

— Вот так единоглашно, вот эдак единодушно...

Но я-то всего этого до конца не уловил и опасался покинуть чердак, решив остаться на нем до утра. А если за мной придут из милиции, по водосточной трубе и карнизу спуститься на козырек парадного уличного входа, соскользнуть по металлической витой колонне на землю и, не мешкая, пробраться на вокзал. Я уже представил себе, как, устроившись на подножке вагона, мчусь к столице... Но голос мамы пресек мои мечтания. Она звала меня домой.

Поколебавшись немного, я крикнул:

— Мам, а меня не заберут? В милицию?

— Спускайся вниз, дурачок, никто тебя не тронет.

«Какая же молодчина Милочка. Это она первой мне поверила. Надо же — поверила!— торжествовал я, быстро скатываясь по крутой лестнице.— Она — мой настоя-

щий друг. Что бы такое ей подарить, чтобы — на всю жизнь? Каску? Или автомат?»

В сарае у меня хранилась немецкая рогатая каска, с которой я соскоблил свастику и эсэсовские молнии. Там же мною был припрятан исковерканный ствол советского автомата, подобранный вместе с каской на городской свалке металлолома. Но эти драгоценности явно не подходили для Милы. И тогда я вспомнил про заветную тетрадь, хранившуюся там же, в сарае.

На следующий день, засев в дровянике, я извлек из тайника тетрадь и враз прочел все содержимое ее. Многие из стихов были настолько неумело, коряво написаны, что вызвали у меня озноб. Но одно я признал достойным Милы, выдрал из переплета-пружины лист, вложил его в склеенный хлебным мякишем конверт и приготовился к отчаянно смелому шагу — вручению. На конверте четкими печатными буквами вывел: «Миле». И добавил: «От друга».

Потом я подумал: не написать ли полный адрес — Милице Бралковой и так далее — и с маркой послать по почте, но отверг это решение сразу, как трусливое.

Через день-два, выждав, когда Мила осталась дома одна, я остановился у ее окрытого настежь окна и положил конверт на подоконник.

Девушка в ситцевом цветастом халатике в первый миг мне показалась вовсе не Милой, столько за последние дни накопилось в ней нового, незнакомого,— повзрослела она, что ли, похорошела ли. Мила шутливо-недоуменно и весело взглянула на меня и на конверт. Недосягаемо-прекрасная, она находилась так близко. Эта близость меня взволновала необычайно и сковала робостью, но я сумел превозмочь смущение. И мне опять вспомнился сожженный матерью портрет на доске, но видел его я целым и очень ярким. И я удивился: откуда такое сходство? И почему тогда, сразу, я этого не заметил?

— Это тебе, Мила,— вымолвил я наконец-то.— На память.



ЧЕРНЫШ

Откуда бабка Герасимовна принесла крохотного черного котенка с острым хвостиком, неизвестно. Наверное, подобрала где-нибудь на улице, из жалости.

Сначала я услышал его писк, а после узнал, кто пищал, и познакомился лично, когда он предпринял обследование закоулков нашего большого, как мне тогда представлялось, дома.

Котишко выглядел забавно и игрушечно, к тому же уродился он неисправимым попрошайкой. Возможно, от рождения он и не был таким привязчивым, но, познав, что такое голод, клянчил у всех и постоянно, заглядывая в глаза и щеря маленькую розовую пасть с мелкими острыми зубками.

К бабке он приставал меньше, чем к другим, ибо прекрасно понимал, что у нее поживиться нечем. Разве кошачья пища — картофельные шкурки? О молоке ему и мечтать было нечего — маленький внук Герасимовны Толька зачастую довольствовался хлебной соской.

Меня очень заинтересовало, чем же питается котишко, ведь без еды невозможно жить. Я несказанно изумился своему открытию: Васька пробавлялся в основном мухами, благо для него их окрест водилось миллионы. Котенок изумительно точно, снайперски сбивал мух со

стен, настигал на оконных стеклах, даже хватал их обеими лапами на лету. Не брезговал котик и подзаборными красноватыми букашками с черными пятнышками на спинках, мы их называли «солдатиками». Однажды изловчился сцапать — и сожрать, естественно,— синюю крупную стрекозу, неосмотрительно усевшуюся на зонтик укропа — от красавицы стрекотуньи остались лишь обрывки прозрачных блестящих крыльев.

Вообще-то к кошачьему народцу я издавна относился шутливо, не мог воспринимать их всерьез.

Собака — другое дело. Помощник. Надежный друг. Еще и букв различать не умел, а слово в слово запомнил прочитанные мамой, и по моим настойчивым просьбам — неоднократно, рассказы о знаменитом Ингусе, поисковой собаке пограничника-следопыта Карацупы. И у меня уже тогда возникло неистребимое желание заиметь собственного щенка. Пусть совсем малюсенького. Я его выходил бы и выучил. Но родители на мои уговоры не поддавались, а мне запретили даже упоминать о щенке. Однако неутоленное желание во мне жило. Ко всем собакам я проявлял интерес и с каждой пытался подружиться. А перед большими — благоговел.

А коты... Не скрою, мне было приятно понарошку погоняться за каким-нибудь мурлыкой, вспугнуть его, пригревшегося, растянувшегося, замлевшего. Повинен я и в более озорных выходках, в чем давно и искренне раскаялся. Например, бабка Герасимовна на кухне однажды до икоты перепугалась, открыв крышку своей кастрюли, из которой на нее прыгнул орущий зверь — ее собственный кот, одичавший от одиночества в закрытой посудине. Но в общем с бабкиным котенком, которого я нарек Чернышкой, а позднее — Чернышом, у нас сложились неплохие отношения.

Бабка никак не могла понять, что я вовсе не мучаю ее Ваську, а дрессирую. А мы с котом, без преувеличений, кое-чего достигли в этом непростом деле. За рыб-

ную головку или малька, а я их ловил на зареченской стороне острова-сада сачком из марли, причем во множестве, Черныш влезал на высокий качельный столб, слезть с которого или спрыгнуть у него не хватало смелости. Вот он и орал дурным голосом. Естественно, что я помогал коту, сбрасывая его со столба без парашюта. Впрочем, летал он и с парашютом, отчаянно крича и растопырив когтистые лапы, с трехметровых ворот и еще более высокого конька крыши сеней нашего дома. И всегда удачно приземлялся. Даже если приспособление из-за технических неполадок не срабатывало. Ну, что могла уразуметь отсталая, еще дореволюционная бабка в наших с Чернышом занятиях парашютным спортом? А я, между прочим, тогда серьезно и с упоением работал над конструированием большого зонта-парашюта. Основой ему послужил настоящий старинный зонтик, шелковый, с желтой гладкой ручкой слоновой кости, оказавшийся, на мое счастье, выброшенным прежним владельцем: велика ль беда — проржавел кое-где насквозь.

Зато он после смазки солидолом исправно раскрывался и закрывался.

Если б кто-нибудь знал, как мне не терпелось, пусть один-единственный раз, прыгнуть с настоящего самолета! Желание было таким сильным и заветным, что я не мог ни с кем, даже с друзьями, поделиться своей мечтой. И у кого бы я не спрашивал: где находится аэродром? где обучают парашютистов? — никто этого не знал. И тогда я решил сам смастерить парашют и испытать его.

Как я рассудил, с помощью усовершенствованного мною «буржуйского» зонта можно было бы плавно опускаться с самых высоких, причем с верхушек, тополей острова-сада.

Мне удалось выстругать и скрепить столярным клеем крылья размахом в полтора метра, так как я на один зонт не надеялся.

После неудачного испытания — я прыгнул с конька высокого сарая в Гарешкином дворе — две недели промаялся в гипсе, который мне налепили на левую, поврежденную, ногу. Да еще с месяц хромал.

Ладно, что рядом оказались Юнька с Гарешкой, они и дотащили меня на своих плечах до самой больницы.

— Вывих,— заключил, осмотрев мою ногу, врач.

Только тогда я уразумел: а если б такое несчастье произошло — по моей вине! — с Чернышом?

Я навсегда прекратил испытания кошачьих парашютов. Мне было стыдно перед Чернышом за то, что подвергал его такой опасности.

Когда котишко подрос, то прилежно и быстро извел в доме всех мышей, отпечатки зубов которых я, к своей досаде, обнаруживал на клубнях картофеля, хранившегося в подполье. Доставалось от кота и местным воробьям. Он хватал зазевавшихся птах на земле, стрелой вылетая из укрытия: из-под лопуха, из-за сирени. А однажды, я это сам наблюдал, он исхитрился, спрятавшись за печной трубой, выследить жертву и, в броске, развернувшись на лету, вцепился когтями и зубами в толстенького воробья-самца. Они кубарем покатились по склону крыши, перевалились через желоб и шмякнулись наземь. Я поспешил к коту, подумав: разбился жадюга! Но Черныш угрожающе зашипел, отскочил от меня и, не выпуская добычи из зубов, шустро запетлял в картофельной ботве. Зверь!

В первый же школьный день я восторженно описал друзьям-одноклассникам подвиги бабкиного любимца. Кое-кто не поверил мне, хотя речь шла не о привидениях с Митрофановского кладбища, а о натуральном домашнем коте.

Словом, меня залихорадило доказать, что кот-храбрец не придуман мною, и я принес его за пазухой в школу. До начала уроков я его с большим успехом демонстрировал, и Черныш многим понравился. Но Витька Ха-

заров, как всегда, чтобы мне навредить, принялся всех убеждать в том, что кот долговский якобы трусоват, это с ходу видно, а вот у него, Витьки, есть котяра по кличке Мордоворот, вот тот — сразу перекусит пополам дохляка и рахита Черныша. Я не потерпел оскорблений в адрес моего кота, и мы с Хазаром поломались, то есть пари заключили, на обеденную булочку, что первенство решится в кошачьем турнире, который будет проведен здесь же, в школе, на следующий день.

Первым уроком по расписанию значилась алгебра.

— Крысовна идет! — оповестил дежурный у двери.

Все разбежались по своим местам.

Тощая, еще более высохшая за минувшее жаркое лето, в неизменном, тщательно отутюженном синем английском костюме, Александра Борисовна Кукарекина зашла в замерший класс крадущейся походкой.

Мы знали, почему завуч такая настороженная. Позавчера она ворвалась в седьмой «б», и на ее голову сама опрокинулась большая кастрюля, полная воды.

Кукарекина долго и подозрительно разглядывала нас. В классе стояла напряженная, с каждой секундой все более набухавшая враждебностью тишина.

— Здравствуйте, дети,— произнесла завуч ласковым голоском — не своим, обычным, а поддельным.

— Здрассьте,— вразнобой протараторили мы.

— Кто-то промолчал. Ну-ка, дружнее,— сказала она фальшиво-добро.

— Здра-стуй-те! — заорали мы изо всех сил.

Крысовна разинула рот, чтобы произнести дежурную воспитательную речь. В классе опять стало тихо. И тут плотно спеленутый моим длинным шарфом Черныш, возившийся и царапавшийся в парте, неожиданно подал голос. Что ему не лежалось спокойно, непонятно. Видимо, заорал он, отчаявшись освободиться от пут. Или не перенес лицемерия нашего сверхусердного приветствия, не знаю.

На несколько невероятно длинных мгновений все сорок шестиклассников замерли от неожиданности, обратив взоры на меня. Вперилась в мои глаза и Крысовна. Это был неприятнейший пристальный взгляд с переизбытком ненависти и злорадства. Она смотрела на меня так долго, словно играла в гляделки. Вот уже и тихие смешки переросли кое-где в хохот, потому что Черныш повторил свои рулады, жалобные и пронизанные недовольством.

— Замолчать! — рявкнула Кукарекина и хлопнула классным журналом о столешницу.

Все разом смолкли.

— Что это значит, Долгов? — отчетливо и громко начала допрос Крысовна.— Что за демонстрация, спрашиваю?

Угораздило же Черныша именно сейчас, на Крысином уроке, завопить, не мог уж потерпеть!

— Сию минуту вон из класса,— отчеканила Кукарекина.— Завтра же пусть придут родители. За портфелем.

— За что? — взъерошился я.

— За что? — ехидно повторила Крысовна.— В прошлом учебном году кто сорвал урок, принеся в класс кролика?

Да, что было, то было. Великую потеху нам серый крол Трус устроил. Его ловили всем классом едва ли не урок, а он прыгал из угла в угол, взбрыкивая задом и обдавая преследователей брызгами мочи. Ох и погонялись мы за ним, прежде чем накрыли пальтушкой и затолкали в мешок из-под галош.

— В прошлом же году я лично тебя застала, Долгов, в школьном коридоре в этом... в каком-то ржавом лапсердаке.

— В кольчуге. В настоящей кольчуге,— запальчиво поправил я.

— Не смей перебивать преподавателя! — прикрикнула на меня Крысовна.— Мне достоверно известно, что

ты, Долгов, приносил в школу пулемет и каску. Со свалки. Если тебя не остановить, ты сюда и пушку прикатишь. Молчи! Ни слова! А что значит твое демонстративное появление в новом учебном году с прической? Это — вызов установленным правилам, открытое неподчинение... Смотри, Долгов! Ишь, жених выискался, чуб отрастил, как у хулигана. Немедленно постричься под нулевку!

Знала ли, догадывалась ли Крысовна, что ранит меня своими словами прямо в сердце? Я, действительно, был тайно и безоглядно влюблен в соседскую девочку Милу и не хотел, чтобы она меня видела «лысым». Маминым черепаховым гребнем я каждое утро подолгу расчесывал перед зеркалом свою полубоксовую челку и с пристрастием рассматривал, не пробились ли усы? Но при всех, вот так, расхлестать меня, да еще обозвать женихом! Я еле сдерживал бурлящий во мне гнев, тем более что кое-кто из однокашников захихикал.

«За что она меня так унижает?» — билась во мне жгуче-обидная мысль.— Если она учитель, значит, ей можно?»

Волна обиды захлестнула меня. Я уперся в глаза Крысовне ненавистным взглядом, видел ее раскрывающийся и захлопывающийся рот, но не понимал смысла произносимых ею слов. Они будто лишились содержания, знакомые, но пустые слова. А последняя фраза, услышанная-таки, больно хлестнула меня:

— И вообще я буду ставить вопрос о твоем исключении из школы!

— Это нечестно,— не выдержал я.— Подумаешь, кота принес. Уроки-то я знаю.

— А если ты слона заведешь, то и со слоном в школу заявишься?

Ребята дружно засмеялись. Надо мной.

— Слона я сюда не приведу, потому что крыса разъест ему ноги,— выпалил я, кипя негодованием.

Это была неслыханная дерзость. Александру Борисов-

ну почти все учащиеся школы за глаза звали не только Крысовной, но и Крысой. И она это знала.

Одноклассники сразу поняли мой намек, раздались смешки и хазаровский гогот из-под парты. А тут и Черныш опять забазлал.

— Вон из школы! — взбеленилась Крысовна.— Чтобы духу твоего не было! И кота твоего!

— Ну и пожалуйста! — сзубатил я.— И без вас проживу.

— Вот кто разлагал класс,— злорадно улыбаясь, выложила завуч.— Это все твоя, Долгов, агитация...

Я вынул из парты Черныша, наполовину выпутавшегося из шарфа, и стал заново пеленать его. В этот момент Витька Хазаров громко — басом! — гавкнул, и Черныш, вонзив мне в шею когти, взобрался на плечо, вскочил на макушку, а с нее прыгнул на висевшие настенные таблицы с алгебраическими формулами, причем он истошно орал. Класс дружно грохнул. Черныш сорвался вместе с плакатами, но успел оттолкнуться от стены задними лапами и с душераздирающим воплем, перевернувшись в воздухе, шмякнулся в проход между партами. И тут я ухватил его за холку.

Вокруг нас скакали, кривлялись в раже ребята, норовя ущипнуть или дернуть Черныша за хвост, но я не давал им этого сделать, увертываясь и защищая кота, прижав его к груди обеими руками.

В конце концов гиканье и улюлюканье покрыл режущий голос пришедшей в себя Кукарекиной.

Она была бледна, руки ее тряслись не то от испуга, не то от злобы.

— Долгов! — орала она.— Долгов! Вон из класса! Вон из школы!

Я запыхался и разволновался. Это надо же — чуть кота не разорвали!

Подняв истоптанный шарф, я с налету плечом распахнул дверь и вылетел из класса.

Меня словно кто-то гнал по холодным и нечистым

коридорам. Остановился лишь в раздевалке, унял дыхание и бешено скачущее, как у кота, сердце.

— Ну что ты натворил, Черныш? — спросил я с отчаяньем.

— Мяу,— смиренно ответил кот.

— Ты знаешь, что теперь мне будет?

— Миау,— еще жалобнее откликнулся он.

Я с ужасом и содроганием представил неминуемую расплату за сегодняшнюю кошачью историю. Отец...

Еще недавно я думал, что не может быть в моей жизни счастливее дня, чем тот, когда вернется с войны отец. Сколько раз я с этой мечтой и засыпал. О грядущем счастливейшем дне я не забывал никогда. И во сне мне грезилось: входит в комнату улыбающийся папа, огромный — не обхватишь, высоченный — до подбородка пальцами не достанешь, одним словом — богатырь, поднимает меня на руки, легко, без напряжения, и вот я уже парю в воздухе, подброшенный его могучими ладонями, в ярком небесном просторе лечу... Часто же я летал в своих детских снах.

Отец возник передо мной именно таким, почти таким, каким я его представлял: большущий, в новенькой щегольской комсоставовской гимнастерке с погонами, на каждом из которых желтело по узкой полоске. И на груди его бликовали гвардейский знак и несколько медалей. Он стоял в дверном проеме и улыбался, в коридоре виднелось растерянное лицо Герасимовны.

Я играл со Стасиком на полу в самодельные паровозики, оглянулся и увидел отца первым.

Я кинулся к нему — загорланил на весь дом:

— Па-а-па-а!

И обхватил его за пояс, прижавшись лицом к широкому гладкому кожаному ремню с прохладной пряжкой с выпуклой звездой. Как на моем, брезентовом.

Стасик, держась за подол гимнастерки, запрыгал. А отец спрашивал нас и Герасимовну:

— Где Павловна? Куда ее занесло?

Кто-то из соседей уже оповестил маму о возвращении отца, и она нагрянула с огорода с запачканными землей руками.

Родители обнялись. Мама молча заплакала. А я не плакал, я смеялся и ликовал, приплясывая на одной ноге.

Из вещмешка отец извлек бутылку самогонки и водрузил ее на стол и еще всякой вкуснятиной завалил стол.

Мама нажарила полную, с верхом, сковороду молодой картошки на свином сале, тоже из отцовского мешка — огромный желтый пласт его лежал на столе — ешь, сколько хочешь.

— Пап, можно я отрежу по маленькому кусочку для Юньки с Гариком? — попросил я отца.

— Конечно, отрежь,— разрешила мама.

С подарками я побежал к друзьям — мог ли я умолчать о таком великом событии в моей жизни — возвращении отца? Я не успевал отвечать на их расспросы. Среди них были и такие: привез ли отец пистолет или хотя бы патроны? Кортик? Бинокль? Ордена и медали битых завоевателей?

Я не сомневался, что у такого бывалого вояки, как отец, имеется трофейный парабеллум — личный, с дарственной надписью генерала. О чем и поспешил оповестить друзей.

— А можно на твоего отца позырить? — спросил Юнька.

— Хоть сколько. Бежим?

И мы ринулись смотреть на моего отца-фронтовика. Я был счастлив, как никогда.

А Стасик вовсе от отца не отходил, следуя за ним по пятам.

Утром, едва протерев глаза, я узрел на подзеркальнике множество интереснейших вещичек, принадлежавших, несомненно, отцу: набор ножичков и пилочек для ногтей — в красивом бисерном футляре — несессер назы-

вается, перочинный ножичек с перламутровой колодочкой в красном сафьяновом чехольчике с замочком «молнией», синий фигурный стеклянный флакон с пульверизатором, наполненный таким душистым одеколоном, что запах его был слышен, наверное, и во дворе. Тут же лежали карманные часы в серебряном корпусе с двойными крышками и с длинной серебряной же цепочкой, к которой был прикреплен брелок в виде старинного пистолетика, и роскошный бумажник из зеленой кожи с золотым оттиснутым гербом, изображавшим гривастого льва, вставшего на задние лапы и обхватившего передними ажурную корону.

Из огромного, похожего на сундук кожаного чемодана с тремя никелированными замками отец, не торопясь, как фокусник из шляпы, доставал невообразимые вещи: отрезы драпа и шерстяной ткани, кожаные и замшевые перчатки — несколько пар различных расцветок, и, что удивительно, все отцу точно по руке, штиблеты вишневого цвета, с дырочками, чтобы ноги не потели, большие куски скрипучего хрома, шелковое нижнее белье — дюжина пар, множество батистовых носовых платков, очень тонких и почти прозрачных, с фамильными гербами и вензелями в уголках, и множество другого невиданного добра. Он отдавал вещи маме, а она в молчаливом восхищении укладывала их на бельевые полки полупустого шкафа. Столько разных богатств вкупе я не видел никогда, и от них веяло неизвестным, далеким и чужим миром. И все это принадлежало моему отцу! Здорово! Он и мне преподнес шикарный подарок — трофейную тетрадь, толстую — девяносто шесть листов в голубую клетку, закрепленных стальной спиралью, в красивом картонном переплете, с изображенным на нем букетом пестрых цветов.

— Учись, Геряй,— напутствовал он подарок.

— Спасибо, папа,— пролепетал я, зардевшись от избытка благодарности. И долго ласкал пальцами лощеные страницы белейшей бумаги.

Начистив иностранным кремом и легонько обмахнув сверкающие хромом сапоги бархатной тряпицей, отец, весь отутюженный, с накрахмаленным воротничком, ушел по делам, провожаемый мамой.

— Мам,— полюбопытствовал я, когда она вернулась,— а что тебе папа привез?

— Мне? — спросила она растерянно.— Да разве мне что-нибудь нужно, сынок? Сам цел и невредим вернулся — чего еще желать?

Похоже, мама была несказанно довольна своей судьбой, ухаживая за отцом.

Вскоре отца приняли начальником по бухгалтерской части в хозучреждение, и я его редко видел. Возвращался он со службы поздно, частенько — навеселе, ужинал и валился в разобранную постель под верблюжье одеяло, тоже привезенное им с войны.

Первое время я поджидал отца вечерами с большим нетерпением, часто выбегал на тротуар: не видать ли? И мчался навстречу. И льнул к нему, а он непонимающе, равнодушно спрашивал:

— Ты чего, Геряй? Иди, иди...

И отстранял меня.

Я убедился, что отец не хочет со мной дружить. И это открытие меня ошеломило, повергло в смятение. Играл он лишь с братишкой, а меня обычно отсылал заниматься каким-либо делом или читать.

И мама как-то еще больше отдалилась от нас со Стасиком. Впрочем, не знаю, чувствовал ли, осознавал ли это брат, а я — очень. Я видел — хлопот у мамы прибавилось, теперь она каждодневно стирала отцовское диковинное нижнее белье, и оно постоянно сохло под моим или Стаськиным присмотром на заднем дворе.

В застольях, как-то вяло и бесцветно, отец рассказывал о своих фронтовых делах. И ничего героического в его былях не обнаруживалось. Мне самому приходилось придумывать подвиги, в которых якобы мой папаша участвовал. Впрочем, медаль-то у него была — «за бое-

вые заслуги». Значит, заслуги у него все-таки имелись, настоящие, боевые. Только он почему-то о них не упоминал. А для меня никакого затруднения не составляло восстановить эти самые заслуги отцовские в своем воображении. Даже приятно было, словно и сам на месте событий побывал и к чужому героизму приобщился. Впрочем, почему — чужому? Ведь я — его сын.

Ночами я часто просыпался от неожиданных, в полный голос, зычных выкриков отца во сне:

— Бей их! А-а-а! Бей же!!

— Леша! Успокойся! Что с тобой? — тормошила его мама, и он, не сразу, приходил в себя, и в комнате опять распухала, заполняя все уголки, звенящая тишина — это работал электросчетчик.

Моя попытка сблизиться с отцом, как я к нему ни тянулся, не удалась. Мать с отцом жили как бы сами по себе. И вообще мы со Стасиком ни разу не стали свидетелями, когда родители при нас завели бы обсуждение наших семейных дел. Мне мнилось прежде, что жизнь нашей семьи протекает у всех на виду, без секретов, тайн и лжи. Оказывается, что-то утаивалось от нас, детей, замалчивалось.

Довольно спокойное мое общение с родителями длилось до первых замечаний в школьном дневнике.

— Драть тебя буду, Геряй, как сидорову козу, если не образумишься,— равнодушно, как бы мимоходом пообещал отец в один не самый лучший, но не худший для меня день, ознакомившись с записью, сделанной педантичной и не пренебрегавшей никакими мелочами Крысовной.

Что скрывать, и от матери раньше мне доставалось за подобные записи — она строго отчитывала меня. Но на том дело и кончалось.

Когда же завуч, опять пометой в дневнике, вызвала отца, «на собеседование», то я узнал его с неведомой мне стороны. В тот вечер он, благоухающий заграничным одеколоном и в меру хмельной, исполосовал мою

спину своим новым широким кожаным ремнем с полированной латунной пряжкой, отпечатавшейся в нескольких вариантах на моих худосочных бедрах. От различных болей и унижения я не только ревел горячими слезами, но и места себе не находил. Нестерпимый стыд душил меня. Мне казалось, что все вокруг рухнуло и от окружающего меня мира остались одни осколки. Он, мой папа, которого я еще недавно так ждал и любил — как никого! — так жестоко избил меня... Это было полным крушением. Не знаю, жалко ли меня было маме, но и она ко мне не подошла после наказания, лишь Стаська простодушно приставал:

— Здорово больно, а? А где болит?

— Отвяжись,— в сердцах отвечал я и снова принимался рыдать — обида жгла внутри огнем.

После этого дикого акта «воспитания» отец как бы вообще перестал замечать меня. А на мои вопросы и просьбы отвечал холодно и с презрением. Меня его враждебность оглушала, как беспощадный всесокрушающий удар в «солнышко». И я недоумевал: неужели я настолько провинился перед ним? Нет, отвечал я себе. Тогда почему же все так получается — нелепо и обидно?

Лупцовки, так отец называл свои уроки «воспитания», повторялись неоднократно после четвертных общих собраний родителей. Видимо, любое замечание: опоздание на урок, попытка проронить слово без разрешения учителя, ошибка или описка в примере — все, кроме похвал, которые я получал — увы! — крайне редко, даже такая мелочь, что был замечен играющим на школьном дворе после занятий — и во что бы, подумать только! — в футбол, все, все, сказанное по моему адресу учителями, отец воспринимал как сигнал к «воспитанию».

Постоянный страх поселился в моей душе. Я трепетал, когда родитель своим негромким бархатистым баритоном обращался ко мне.

После очередной расправы я несколько дней болел —



ручища у папаши была дай боже, тяжеленная, точно кувалда. Вечерами я тоскливо и с отчаяньем думал, когда же, наконец, вырасту и стану взрослым, чтобы никто — никто! — даже отец не смел причинить мне боль, обидеть безнаказанно.

Единственный выход, размышлял я, изобрести лекарство старения. Таблетки. Проглотил одну — сразу годом старше стал. Всего-то мне и надо три таблетки, три...

Но это были мечты, успокаивающие кратковременно. А действительность — вот она, от нее никуда не уйдешь, как из железной клетки!

Я попробовал пожаловаться маме, хотя и стыдно было. Она ответила, что если я буду хорошо учиться и примерно, без замечаний учителей, вести себя, то отец не тронет меня и пальцем.

Но у меня никак не получалось учиться ровно и хорошо. Я то получал высший балл, то срывался на неуд. И когда в дневнике появлялось обращение Крысовны к родителям «воздействовать», паника охватывала меня, я уже ничего не соображал, и неуды с замечаниями о нарушениях правил поведения следовали один за другим, усугубляя тяжесть неминуемой суровой расплаты. О порках я никому, и друзьям тоже, не проговаривался. А учителя — знали. И однажды Крысовна съехидничала, что на меня действует положительно лишь «каша из ремня». Я чуть не взвыл от наглейшего оскорбления чести.

И вот еще одно столкновение с ней — из-за Черныша. Неужели отец опять поусердствует и покроет рубцами спину? Ни лечь, ни сесть...

Я решил бесповоротно: хватит! Не ведаю, что предприму, но это уже неважно. Отнесу бабке кота, а там видно будет.

Ощущение надвигающейся беды, теснившее мой ум, сменила легкость свободы.

На улице с нами стряслось еще одно несчастье.

Черныш утробно орал, возился и царапался под застегнутой на все палочки-пуговицы телогрейкой, и я выставил его голову наружу меж петель. На углу улиц Труда и Цвиллинга мимо нас прогромыхала полуторка с теплоагрегатом возле кабины шофера. Таким автомашинам топливом служили деревянные чурки, обычно лежащие в кузове в специальном рундуке.

Так вот, когда это несусветно гремящее, огнедышащее чудовище, этот реальный Змей Горыныч на колесах, прогромыхал мимо меня, вернее, нас, кот не выдержал столь страшного зрелища и вырвался, выскользнул, будто маслом смазанный, и с невероятной скоростью пустился к ближайшему забору — только я и видел его задранный хвост.

Я кинулся вслед за беглецом с криком:

— Черныш! Куда? Стой!

Но перепуганный кот исчез. Бесследно.

Домой, одному, мне вовсе расхотелось идти. А куда деться? Можно было бы попытаться пробраться в кино «МЮД» без билета, мне это удавалось десятки раз, но настроение, препаршивое, не располагало к развлечениям. И я повернул назад.

Бредя куда-то наугад, я миновал многоэтажное серое здание школы, оглянулся, и в воображении моем повторилась унизительная сцена изгнания из класса.

К Кукарекиной на глаза больше не покажусь. Никогда! Сколько ей позволительно позорить меня? Она только и ждет, чтобы поиздеваться, унизить. За что она так возненавидела меня? И других? Что мы плохого ей сделали? Трудный вопрос я себе задал, безответный. Хотя легкий ответ и сыскался: злая она, эта Крысовна. Но я чувствовал, что не вся, не полная истина в нем.

— Все, больше в школу ни ногой,— сказал я себе, успокоился душой и... пошагал в городскую библиотеку.

Заветные уголки детства! Речной летний берег, веер

сверкающих водяных брызг, перемешанных с гвалтом и выкриками ребят и девчонок; пыльный, таинственный и сумрачный чердак — штаб нашего тимуровского отряда, упругий весенний ветер бескрайнего загородного зеленого поля и я, бегущий навстречу ласковому и веселому — живому! — воздушному потоку; невидимый жаворонок в знойном белесом небе над головой, так и запала навсегда в душу небесная песня без исполнителя, песня — и все; хруст снега вокруг послевоенной в разноцветных лампочках огромной чудо-елки в городском саду имени Пушкина; лунка с родником и шевелящимися на дне его песчинками — и всего в семи шагах от крыльца — все это и многое-многое другое останется на веки вечные в зеркале памяти как отражение счастья детского бытия. Но особое место среди подобных воспоминаний занимает библиотека — моя обсерватория, откуда я увидел мир. Миры!

Волшебные сказки Гауфа и не менее захватывающая многотомная «Жизнь насекомых» Фабра, бродяги Горького, Диккенса, Филдинга, пестрая восточная толпа из «Тысячи и одной ночи», дневники путешествий Ливингстона в дебрях Африки, алые паруса гриновской бригантины, вереница героев Пушкина, Гоголя, гениальный Шерлок Холмс; аборигены Миклухо-Маклая; добрый Буратино и зловещий инженер Гарин; благородный и бесстрашный д'Артаньян; никогда не унывающий, находчивый бравый солдат Швейк и множество других образов и существ, движущихся перед внутренним взором, как на карусели. И особо — мальчишки Гайдара. Они жили — неотделимо — во мне, со мной рядом, в моих друзьях и недругах, повсюду. С ними я не бывал одиноким.

Каким неимоверно бедным было б мое детство без книжек, это и представить невозможно.

А где я чувствовал себя счастливым и уверенным, устремляясь мечтами в свое будущее, где меня, жаждущего узнать все-все, всегда ждало новое, неизведанное,

желанное? Никто и ничто не дали мне так много благ, как детская библиотека, и ей я благодарен, просто благодарен на всю жизнь, ибо в ее тишине проросло поле души моей, засеянное Великим пахарем и сеятелем — Книгой.

Вот я открываю калитку и поднимаюсь на невысокое крыльцо обширного одноэтажного деревянного дома, некогда служившего прибежищем революционерам. Голубоглазая, как подросшая Мальвина, девушка-библиотекарь осторожно вручает мне латаный-перелатаный томик Александра Беляева — «Человек-амфибия».

Сажусь за стол, на ближайшее свободное место, и материальный мир, окружающий меня, исчезает. Меня нет ни в просторном холодноватом зале читалки, ни в Челябинске, я весь — там, с Ихтиандром, рядом. Вот оно, перед глазами, морское дно с его неисчислимыми сокровищами, вывалившимися из погибших кораблей.

— Долгов, ты разве плохо слышишь? Я третий раз повторяю...

— Извините...

Библиотекарь чуточку рассержена. Она куда-то спешит. Может быть, опаздывает. А мне торопиться сегодня некуда.

С большим сожалением и нежеланием расстаюсь с книгой. В ушах все еще рокочет море. Я знаю, как оно шумит,— у тети Люды Брутовой раковину слушал, что на комоде лежит, большая и красивая, бело-розовая. Тетя Люда — вот счастливица! — ее с черноморского курорта привезла. Еще до войны, конечно же.

А теперь куда? На улице смеркается. Тащусь домой. Первый вопрос настороженной мамы: «Где был?»

Она, видно, чует что-то неладное.

— В библиотеке.

— Ты бы лучше геометрией занялся.

Отец сидит ест. Медленно, размеренно. Он никогда не спешит за столом. Он никогда и никуда не спешит.

Перед ним столовый прибор из хрусталя, он его называет «бюргерским»: горчичница, перечница, флакончик с уксусом, солонка. Он жует пельмени из картофельного пюре, поддевая их изящной маленькой вилочкой с фамильным гербом какого-то нерусского буржуя. Отец всегда насыщается один. Нас со Стасиком мама кормит после, во вторую очередь, а уж сама не знаю чем перебивается. Тем, что от нас останется. Но мы частенько просим добавки, которой, как правило, не бывает.

Спокойствию и важности отца я дивлюсь и завидую. И страшусь. Он всегда держит себя солидно, недоступно, свысока. Даже во время порок. Истязая меня, он ничуть не волнуется, хотя это занятие ему явно неприятно — на лице у него обычно отражена брезгливость.

Отец и ни с кем из соседей не сближается: здравствуйте и до свидания. Его просто никто не интересует. Внешне вежливое, или, как он определил, «культурное», отношение к окружающим скрывает то же самое равнодушие, безразличие, а то и враждебность, если кто-то его чем-то раздражает. Или бесполезен. Даже нас со Стаськой он заставляет работать, платя крохи, копейки за труд, который обязан выполнять сам, по решению домового совета туалетное дежурство от нашей семьи закреплено за ним — лично. Отцу, небось, льстит, что мы, а не он, пилим дрова, носим воду на огород, окучиваем и пропалываем картошку, убираем в общественной уборной — последнее-то занятие и оплачивается им. А он — хоть помог бы. Но нет, лишь понукает: «Не ленитесь! Давай-давай!» Не отстанет, пока не выполним его задания. И называет это «трудовым воспитанием».

Деньги, которые он нам отсчитывает непременно серебром, мы опускаем в копилку — поросенка из раскрашенного гипса. А когда набирается достаточная сумма, вытряхиваем монеты при помощи ножа и идем с братишкой в магазин «Когиз» покупать очередную книгу.

— Барин,— осуждающе отозвалась об отце Герасимовна.

— А ты — горбатая и злая,— яростно заступился я за него.

Не различал я поначалу, что отец гордится своим, как бы заслуженным, бездельем и не желает помочь кому-либо, а также тем, что кто-то другой выполняет за него тяжелый, черный труд, и тем, что он, Алексей Михайлович Долгов, недосягаем для других и — «чихал на всех». И на нас с мамой и братом, выходит,— тоже. Прозрение на меня нашло неожиданно, сейчас, при возвращении из библиотеки. Сначала я отринул эти свои мысли, столь кощунственными они мне показались. А после — смирился, ведь это была правда.

...Медленно вылезает он из-за стола и ложится на диван отдохнуть после обильного ужина, отгораживаясь от всех нас развернутой газетой. Через несколько минут раздается его храп.

Я вынимаю из тумбочки растрепанный том «Дон-Кихота» с прекрасными рисунками Гюстава Доре, раскрываю наугад — с любого места эту книгу читать интересно, даже во второй, в третий раз.

Я не задаю себе вопрос, почему мне так полюбились рыцарь печального образа и его веселый и лукавый слуга, они мне просто нравятся, особенно Дон-Кихот. И мне почему-то представляется, что они близко знакомы с Тилем Уленшпигелем и его другом Ламме Гудзаком, что это одна компания, только написали о них разные авторы.

Но вскоре, хотя я притих на кровати, положив перед собой большую пухлую книгу, мама справляется, почему не готовлю домашние задания.

Вынужден во всем признаться. Мама расстроена. Отец выслушивает ее сетования и мои объяснения лежа, недовольный, что его посмели разбудить. Он явно не расположен усугубить испорченное мною настроение и поэтому спокойно объявляет:

— Завтра всыплю по первое число.

И поворачивается на другой бок.

У меня отлегло от сердца. Слава богу — до завтра у меня уйма времени. А там видно будет. Под курлыкающий храп отца я размышляю: «А почему он мне «всыпет» по первое число, что это за число такое? Да и удастся ли ему на сей раз выполнить свою зловещую посулу...»

И я снова принимаюсь за «Дон-Кихота».

Правда, под отцовскую горячую руку я попался в тот же вечер. Он неожиданно ткнул меня в лоб костяшкой согнутого указательного пальца, мы, пацаны, называем такой удар «козонком», и вяло буркнул:

— Обалдуй...

Я притаился на своей кровати, с тоскливой завистью наблюдая, как Стасик за столом, один, выполнял письменное упражнение по арифметике — он уже пошел в третий класс и учился успешно, ровно, без приключений.

— Ваша, Ваша, Ваша,— шамкала в общем коридоре Герасимовна, клича своего кота.

Заглянула и к нам. Я умолчал о судьбе Черныша — струсил отцовской немедленной расправы. Теперь я часто лгал, чтобы избежать унизительно-невыносимых побоев.

К открытию библиотеки я уже топтался на крылечке — единственный ранний посетитель. И в читальный зал вошел первым. День промелькнул, как единый миг, в обществе головы профессора Доуэля. Но всему, и наслаждениям раньше, чем печалям, приходит конец. Я это с сожалением отметил, когда библиотекарша погасила потолочные лампы. Безысходная тоска охватила меня, словно с головой накрыла ватным удушливым одеялом. Час расправы неотвратимо надвигался, и его приближение я ощущал физически.

Чем явственнее сокращалось расстояние до дома, тем больше нарастало во мне нежелание войти в него. Никогда порог родного жилища не казался мне таким непреодолимо высоким.

Отец, наверное, явился уже из школы, уныло думал я. И, как всегда молчаливый и спокойный, ждет моего появления, положив змеей свернутый ремень на подзеркальник. Мама, несомненно, стирает или готовит ему. Да и тщетно искать у нее защиту, ведь я — виновен. А у нее такое правило: заслужил — получи. И за хорошее, и за плохое. Виновного даже необходимо наказать — так положено...

Однажды я не выдержал и, чтобы избежать расправы, солгал отцу. Это меня на некоторое время спасло. Но одна ложь потянула за собой другую, и я настолько запутался в выдумках, что был уличен, нещадно отхлестан, теперь уже и за вранье, хотя мне и без того было тошно от каждого неправдивого своего слова. Вспоминая об обмане, я весь покрывался потом,— наверное, у меня температура повышалась, потому что нестерпимо горели мочки ушей. Я словно с твердой земли перешагнул на зыбкую кочку — ложь держала меня в постоянной неуверенности и нудном ожидании разоблачения. В общем, меня несло и кидало неведомо куда — хотя твердая земля находилась где-то рядом. Где? Ее-то мне и предстоит отыскать, обрести вновь.

Когда я вплотную подошел к двери нашей квартиры, сердце у меня громко заколотилось, а в горле пересохло. Осилив страх, я толкнул дверь. В комнате находился лишь Стасик.

— Ма в магазин ушла, отовариваться, во! — сообщил он, подняв голову от тетради.

— А где папа?

— Нету. С работы не приходил еще.

И тут остатки страха окончательно покинули меня. А почему, собственно, он бьет меня — потому что сильнее? Или чтобы угодить злой Крысовне? Если он — мой отец, значит, ему можно нещадно лупцевать меня? Нет, я не хочу, чтобы меня бил даже он. Ни от кого не хочу терпеть побои, ни от кого!

— Стаська,— произнес я решительно.— Скажи маме

и отцу, что я ухожу из дому. И больше не вернусь. И нечего меня с милицией искать, понял?

Братишка изумленно взглянул на меня, а я, даже не заходя в комнату, повернулся и поспешно направился к выходу. Во мне пульсировала лишь одна мысль: только бы не встретиться с отцом!

Во дворе я почувствовал себя в большей безопасности и — свободным, как прежде. Какое блаженство!

Хотя уже смеркалось, бабка Герасимовна, возвращаясь с пустой кошелкой и клюкой, признала меня. Она неожиданно замахнулась палкой, и я еле успел отскочить.

— Вы что, бабушка, ополоумели? — дерзко выкрикнул я.— Чего кидаетесь с костылем?

— Ах ты варнак! — разразилась старуха.— Ты пошто мово кота в школу уташшил? А?

— Не видел я никакого кота. Я вообще вашего кота не знаю.

— Не ври, лешов шын. Ноне твоя ушительниша приходила, баила, што ты Вашку в парте швяжанного держал, жлодей. Куды ты его подевал?

Я вспомнил нарочито хриплые рулады Черныша, и это меня развеселило.

— Бабушка, ты сама сколько раз мне твердила, как тебе плохо жилось, неграмотной, раньше, при барах.

— Ну и што?

— Вот я и решил: пусть хоть кот ваш грамотным будет. Грамотному-то легче жить, сами знаете.

— Ты ишо и шуткуешь?! Вот я тебе ужо по шпине-то батогом...

Но разве она могла за мной угнаться?

Однако ненадолго хватило веселья. Настроение у меня резко упало. Я сник, поддавшись щемящему чувству вырванности.

Вот и бабка на меня ополчилась, грустно поду-

мал я и стал насвистывать, напевая про себя слова, одну из любимых моих тогда песен — «Жди меня».

Подойдя к воротам, я прекратил свист, взялся за скобу калитки и услышал совсем тихохонькое мяуканье. Высоко на столбе сидел, съежившись, Черныш и неотрывно глазел на меня.

— Черныш, Черныш,— позвал я его, еще как обрадовавшись.

Он коротко мяукнул и, осторожно ступая по арке ворот, пошел ко мне — соскучился, дорогой мой мурлыка. Нашелся! Разыскал родной дом — на удивление.

Видимо, еще более голодный, чем я, кот спрыгнул ко мне под ноги, громко замурлыкал и стал тереться о них — будто ничего особенного и не случилось.



ГУНДОСИК

Мы с Венкой сидели на вогнутой нижней ступеньке бетонной лестницы, слышали яростные выкрики сцепившихся между собой женщин, и этот ор нам быстро надоел.

Народу на всех трех этажах бани набралось — не пробьешься, и вроде бы уйти от сопотни было некуда, но Венка шепнул мне:

— Поканали в бухвет, у меня гроши есть.

Поскольку свободного времени простиралось бесконечно много, а цели — никакой, то я охотно поднялся, и мы, извиваясь и расплющиваясь, протиснулись к буфету, находившемуся в зале первого этажа, даже несколькими ступеньками ниже, как бы в полуподвале, залитом густым, влажным воздухом, насыщенным терпкими запахами нечистых человеческих тел.

Над колышущейся толпой, за массивной деревянной стойкой, возвышалась дородная буфетчица Зинка, известная всей округе оторва, бесконечно выходившая замуж, и все — за офицеров.

Завистницы азартно перечисляли, сколько у нее в сундуках и комодах скопилось трофейных отрезов, кожаных регланов, ковров, сервизов и прочих богатств, захваченных у облапошенных Зинкой демобилизованных бравых фронтовиков. Получалось — несметное количество, на «большие тыщи».

Веря этим байкам, со смаком передаваемым соседкам тетей Тоней, уборщицей банной парикмахерской, я с робостью всегда поглядывал на пышный торс хищной буфетчицы, затянутый в белый халат с перламутровыми пуговицами-блюдцами и забрызганный, словно кровью охмуренных ею «лентенантов», амарантом. И кисти рук ее, точно ниточками перетянутые в запястьях и суставах пальцев, всегда мокрые, глянцевые, были пропитаны тем же малинового цвета пищевым красителем, без которого чудесный морс стал бы просто подслащенной водичкой.

Венка без очереди втерся в толпу и пролез-таки к стойке и высыпал из кулака на тарелку горсть монет.

— Теть Зин,— пропищал он,— два с двойным. Без сдачи.

Рыжая Зинка не унизилась пересчитывать Венкины медяки, стряхнула их на поднос, на котором горкой растекалась мелочь, и поставила перед Гундосиком стакан.

— Еще один. Я без повтора, с товарищем,— пояснил он.— С корешем.

Величественная хозяйка стойки налила порцию в малую пивную кружку. Кокетливо оттопырив мизинец, водрузила ее перед носом Венки, словно не слыша и не видя покупателя.

Зинка редко кого одаривала взглядом своих невероятно синих глазищ в черной оправе мохнатых крашеных ресниц. Не смотрела на людей потому, что они ужасно ей надоели. А вот на нее все пялили глаза, особенно хлыщи в бурках и москвичках, крепкие развязные молодцы, не утратившие фронтовой напористости или блатной наглости тюремных завсегдатаев. Меня же удивляла четырехэтажная башня медных Зинкиных волос — будто большую катушку тонкой проволоки распушили.

Возможно, рыжая Зинка и действительно обладала необыкновенной, неотразимой красотой, но мне — не нравилась. Более того, буфетчица мнилась мне опасной и

посему — страшной, безобразной, отталкивающей. Я ее представлял вампиром, похожим на толстую летучую мышь.

— Гер, держи!— Венка поднял над головой стакан и кружку.

Изловчившись, я принял один из сосудов, не расплескав ни капли.

Мы протолкались в угол, где кто-то спал, укрыв голову полой грязного пиджака. Не торопясь, маленькими глоточками, смаковали сахариновый, яркий даже при скудном электрическом освещении, напиток.

Хотя тревога во мне не рассасывалась и держала в напряжении постоянно, несколько увереннее чувствовал я себя рядом с Гундосиком в этой упруго-неподатливой толпе всяких-разных чужих людей, ни одному из которых нет до меня никакого дела.

Я ощущал себя очень одиноким, отринутым, и одновременно меня с Венкой уже связывала тоненькая ниточка неопределенной надежды на что-то спасительное в близком будущем. И мне не хотелось, очень не хотелось, чтобы она оборвалась и я остался бы совсем одинешенек, плотно окруженный этой чуждой мне и, похоже, враждебной толпой.

Дом мой, мысленно к которому я часто приближался, блуждая совсем рядом, находился менее чем в трех кварталах от места, где я стоял с кружкой в руке, минут десять ходьбы, а бегом и того меньше. И в то же время я осознал: его не было, того надежного дома, в котором мы так славно жили все годы, всю мою жизнь до недавних пор.

Меня подмывало, тянуло вернуться под родной кров, и я мысленно видел себя в коридоре, рядом с ларями, возле дверей нашей квартиры, в комнате, лежащим в кровати, укрытым одеялом так, что лишь нос из-под него торчал. Эх, почему я не заболел!

Печальное настроение вызвало из глубины памяти патефонную мелодию, часто звучавшую предвоенным ле

том из открытых окон дома Шкуратовых — «Утомленное солнце нежно с морем прощалось...».

Хотелось погрустить в одиночестве, где-нибудь в лопуховых зарослях, возле родника, и даже слегка всплакнуть... Но это мимолетное чувство, посещавшее меня обычно в послеобидные минуты в детстве, таком далеком теперь, было тут же смято и смыто гулом людских голосов, вытеснено надсадным кашлем, чьей-то визгливой руганью — я вернулся к себе, к банной публике, толпившейся рядом. И это было нежеланное возвращение.

От усталости ныли в коленях ноги, ведь я не спал ни минуты всю предыдущую ночь, скоротав ее в холодном вокзальном зале. Никуда я, конечно, не уехал, ибо не представлял, куда податься. Потерянно бродил между сидящими и лежащими пассажирами, спящими в обнимку с чемоданами и узлами. Находившись вдосталь, я присел на корточки возле семьи с беспрестанно орущим грудным ребенком, отец которого называл себя, жену и младенца транзитными. Что это такое — транзитные,— я не знал. Самым близким словом оказалось «зенитные», но оно ничуть мне не объяснило, кто же такие эти нервные, измотанные — хоть реви! — люди. Выудил я из памяти и еще одно созвучное слово — «дизентерийные». Может, и в самом деле — больные?

Промучившись до утра, я на трамвайной «колбасе» доехал до своей остановки и долго прогуливался возле Гарешкиного дома, опасливо наблюдая и за нашей калиткой. Дождавшись друга, коротенько объяснил ему, что убежал из дому и живу теперь на вокзале, заодно спросив, не найдется ли у него чего-нибудь съестного.

Гарешка смотался домой, нагнал меня, мы остановились. Друг выгрузил из карманов две теплые, изъятые из валенка, большущие помидорины и пожелтевший, в сети светлых трещинок, семенной, и тоже крупный, огурец.

— Больше ничего не удалось,— как бы оправдываясь, сказал Гарешка.

— И за это спасибо.
— Как же ты теперь?
— Не знаю. Но домой не пойду ни за что. Хватит.
— Факт,— подтвердил Гарешка по-Юнькиному.

Отчим его, дядя Саша, пасынка никогда не наказывал, как, впрочем, и младшего Гарешкиного братишку, своего родного сына.

Отец Кулеша был арестован и пропал без вести за несколько лет до начала войны, когда Гарику едва исполнилось четыре года. Однако мальчишка зримо помнил отца, кадрового военного, занимавшего высокий пост в каком-то штабе,— личный шофер возил его на персональном легковом автомобиле. Гарешка почему-то всегда избегал разговоров об отце. Возможно, он стеснялся или знал что-то такое, о чем не следовало упоминать даже среди друзей. Лишь однажды он показал нам коричневую фотографию, наклеенную на серый картонный паспарту, на которой отец был запечатлен среди сослуживцев — в форме, с шашкой на боку.

Проводив Кулеша до угла квартала, я задумался, куда податься. Не хотелось встречи с отцом, он в это время, завершив утренний ритуал бритья трофейной опасной бритвой «Золинген», прысканья одеколоном, надевания теплой, только что отутюженной мамой сорочки и завязывания зеленого с серебряными искрами шелкового галстука с последующим начищением до лакового блеска хромовых сапог, облачался в кожаное пальто и из того же хрома фуражку военного покроя и отправлялся на службу, а его словами — «в присутствие».

Он важно шагал, если не ненастило, по середине тротуара — это утреннее шествие называлось моционом — до пересечения улиц Кирова и Карла Маркса, где находилась его контора.

И я поначалу возгордился, что у меня такой выдающийся, заметный отец. Но сейчас мне было стыдно за него. Злости либо ненависти во мне не пробудилось — я просто боялся его. Как это ни позорно было, но я

себе признался, что боюсь и именно поэтому не желаю, избегаю находиться рядом с этим спокойным, уравновешенным человеком, полным неодолимой силы, которой я не могу противостоять. А непоколебимая уверенность в себе и барская внешность бывшего бравого штабного писаря нравилась некоторым соседским женщинам. Я видел однажды, как алчно наблюдала за ним из-за оконной занавески тетя Тоня. Да и завмаг, резкая и нетерпимая ко всем окружающим, с отцом обходилась почтительно и разговаривала с ним другим, мягким, мурлыкающим голосом.

Но самым оглушительным открытием стала очевидность того, что отец — совершенно чужой, а иногда враждебный мне человек. Это открытие, отцеженное из многих его обид, перетряхнуло всего меня и как бы вышибло с привычного места в семье, в жизни — я потерял опору, наверное главную для меня тогда.

Однажды я почувствовал непримиримость к щегольским нарядам отца, которые дотоле мне безотчетно нравились, и я мечтал точно о таких сапогах, сорочке, и верхом шика мнилось мне его кожаное пальто с пристежным черным меховым воротником.

Все перевернулось, может быть, потому, что мама так и продолжала бегать в телогрейке, как и в военные годы,— не получалось выкроить из зарплаты, ее зарплаты, на пальто, несмотря на экономное ведение хозяйства и работу на полторы ставки в жилконторе, куда она вернулась после Победы.

Некоторые ребята, и Юнька Бобыньков в их числе, считали меня — и нашу семью в целом — «богатыми». А все наши богатства были надрючены на отца и состояли из вещей, тоже принадлежавших лишь ему.

Мне, правда, поначалу и в голову не приходило: почему у него есть все, а у нас — почти ничего? Я верил, что взрослые живут так, как им надо и положено, и мы, дети, не имеем права вмешиваться в их решения, ведь мы живем так, как нам позволят и как мы сами можем.

Так уж повелось у родителей — от меня со Стасиком скрывалось все, чем семья жила: ее материальный достаток, его распределение. Правил в ней отец. Но я этого не знал. Я лишь ощущал на себе угнетающую, вязкую тягость его власти, от которой мне стало невыносимо дома.

Я стоял на углу улиц Свободы и Труда и выбирал: дождаться, когда уйдут на работу родители и наведаться домой, чтобы взять хотя бы щепоть соли, либо... Я выбрал «либо». Чтобы не отступать. Нельзя было отступать.

Необыкновенно аппетитной показалась мне сладковатая мясистая мякоть помидорины, туго накачанной кислым соком. Вторая уже не отличалась столь отменным вкусом, хотя чувство голода не прошло. Схрумал я и огурец. Желудок мой наполнился, а сытость не приходила. Меня передергивала внутренняя дрожь — озяб. И в этот момент в голову пришла счастливая мысль: вот где теплынь-то — в бане. И я припустил на Красноармейскую.

Отогрелся. А после направился в свою библиотеку. Но неотвратимо наступил вечер, библиотеку закрыли, и мне ничего не оставалось, как вернуться на Красноармейскую.

Этажи и лестничные площадки гудели от человеческих голосов, давка — уже от входа, у очередищ конца не найдешь.

Среди людей горе, нывшее во мне нудным старушечьим голосом, постепенно приглохло, отступило. Но оно невидимкой притаилось рядом, готовое в любой момент наброситься на меня, напомнить об утрате дома — моей самой большой боли.

Венку я увидел, поднимаясь между сидящими на лестнице. На площадке, в углу, безмятежно спал, будто в мягкой постели, молодой доходяга в лохмотьях. Меня эта безмятежность изумила: как можно уснуть на холодном бетоне, когда рядом топают, шаркают обувью, задевают, наступают, громко переговариваются и ругаются.

Венка сидел на ступеньке и, прислонив к стене голову в засаленной мятой солдатской шапке, тоже спал, открыв рот.

Бедный Венка, все-то его шпыняют, всякий там Муравьед или Витька Хазар могут обидеть безнаказанно, потому что он слабее их, а заступиться — некому.

С Колькой я даже поцапался минувшим летом, и всерьез, вступившись за Гундосика. Муравьед, гораздый на гадости, придумал забаву — «цирком» назвал. Подкрадется к Гундосику сзади и неожиданно сдернет с него штаны — на потеху другим пацанам. Да еще и на ошкур наступит.

Поначалу засмеялся и я. Но тут же спохватился: не то что-то. Паскудство какое-то. Издевательство.

Гундосик метался на тротуаре, поддерживая обеими руками ошкур широких стариковских штанов цвета истоптанной сухой земли, обстриженных снизу под его рост.

— Ну, чего ты! Отстань! — вяньгал он затравленно.

Глумление над Гундосиком зажгло во мне злость, и, приблизившись вплотную к Муравьеду, я решительно заявил ему:

— Отстань.

— А тебе чего — зад дерет, что ли? — оскалился Колька.

— Отстань по-хорошему,— повторил я.

Муравьед не унимался — из упрямства. Чтобы доказать мне, что мои слова ему нипочем, он поймал Венку и как в тиски зажал его голову под мышку. Я подскочил к Муравьеду и уцепил его за полубоксовский жидкий чубчик.

— Приятно? — процедил я сквозь зубы.

Колька выпустил Гундосика и схватился со мной, но нас тут же разняли — не по правилам сцепились. А от поединка Муравьед отказался. Якобы сломанная в детстве рука заболела. Может, и заболела. А когда Гундосика мучил — ничего, не мозжила, здоровая была.

— Тебе больно, да? А ему? — не остывал я.

— А тебе какое дело? Тоже по соплям захотел!

— Мне? Попробуй! — ершился я.

— А чего он сопли развесил? — оправдывался Колька.

— У тебя пальто ватное, ботинки есть со шнурками, американские, и валенки подшитые. А у него? В чем летом, в том и зимой — босиком.

Колька заткнулся, но гадливая улыбка не сходила с его узких бледных губ.

— А чего ты меня тянешь? — перевел он спор на другую тему — личную.— Ты вообще, Долгов, задаешься перед слободскими пацанами. Что, отец начальник, поэтому и рыпаешься?

— Не трожь отца,— рассвирепел я.

— Посмотрим,— неопределенно и как бы нехотя пригрозил Муравьед.— Еще потолкуем с тобой.

И он, фальшиво улыбаясь, отошел в сторону, подбрасывая и ловя монетку.

Гундосик, одногодок Стасика, никогда моим другом не был, да и не мог быть — по возрасту. И я не обязан был за него вступаться. Просто получилось так, само собой.

Более того, после происшествия с «верченой» буханкой я избегал встреч с Бобом и его братом. Они напоминали мне о гнусном поступке, совершенном мною, как я установил, по безволию, из-за нестойкости, потому что трусливо поддался нажиму Юрасика. А кто он такой был, Юрасик, чтобы мною повелевать? Я его холуй, что ли? Я — свободный!

Я всегда должен действовать самостоятельно и осмысленно. Согласно своим убеждениям. Не уступать никому и никогда. И ни за что. И ни в чем. Если прав. Такое правило я придумал для себя после позорной истории с кражей хлеба — а как же еще было назвать это — по совести?

И вот Гундосик сидит на сточенной еще с царских времен тысячами и тысячами подметок, словно провисшей, лестничной ступеньке и наверняка проспит свою очередь. Я растолкал его.

— А... Гоша... чего тебе?

— Очередь-то пройдет.

— Нет у меня никакой очереди. Эх, такой сон видел. Воши к чему снятся? К деньгам?

— Представления не имею.— Я присел рядом.— А ты чего здесь?

— Отдыхаю.— И на мой вопросительный взгляд пояснил: — Дома-то холодрыга. Хужее, чем на улке. Папаня на той неделе, пьяной, дверь изрубил. Топором. И истопил. Теперича квартиру и запереть не на что...

— А чего он дверь-то истопил?

— Больше — нечего.

Верно. Давным-давно Сапогины в печь пустили не только все, что находилось в дровянике, но и саму сараюшку, так что потом топливо хранили в комнате. А когда оно кончилось, в ход пошли половые доски — толстые, как плахи, еще дореволюционные. А нынче и до двери добрались.

— Пьяной был папаня-то, сказал же тебе. Он как надрызгается, так чудит. Или дерется. А тверезый — мировой мужик, муху не обидит. А давеча и все окошки высадил. Не бывает он тверезым-то. Совсем.

— Неужто совсем?

— С мая не просыхает. На базаре не вылезает из пивнушки. Шестерит. Кружки собирает и допивает, чего в них остается. Рыбные шкурки и головки жует. А кто ему и соточку нальет. Особенно ежли фронтовик тоже. Папаня при всех медалях и ордене Красной Звезды опивки-то досасывает.

— Так ты б ему сказал.

— Думаешь, не говорил? Я ему грю: «Папань, не позорься». А он: «Цыц, щенок. Ни в чем ты не шурупишь. Жареный петух, грит, тебя в зад не клевал. А угощают меня из уважения, как фронтовика. А в рыбных головках, грит, самый смак, это только истинные ценители понимают. Уходи, грит, а то убью».

Маманю, когда набузгается до чертиков, колотит, аж клоки волосьев у ее выдирает, топором грозится.

— За что он так лютует?

— За то, что маманя скурвилась. Кричит: «Я в окопах кровь проливал, а ты тут с тыловыми козлами тешилась в мягких постелях!»

— А тебя?

— Меня? Без понятия. Просто так колошматит, чтоб за маманю не встревал. И Боба заодно. Всем нам достается.

— Правда, что посадили его?

— Бобку-то? Ага. В Атляне тянет срок. Год врезали. Прописали в письме, что ящики сколачивает. Гвоздями. Рекордист! Блатная, кореша пишут, работа. И жить можно. Кашей кормят там, баландой. Хорошо ему. А меня маманя не кормит. Вобче ничего не дает жрать, грит, нету.

— Она дома разве?

— Ты что — чокнутый? Маманя у тети Стюры, своей сестры, ночует. Чтобы папаня начисто не ухайдакал. А меня теть Стюра не пущает, грит — некуда. А я бы и под кроватью мог прожить. Не хочут меня пущать. Штобы в рот никому из них не заглядывал.

— Почему же тятя Паша тебя не кормит, ведь хлеб-то по твоей картинке вы получаете?

— Папаня отымает. Казачнет и толкнет, а гроши — на вино.

— А чем же ты питаешься?

— Да чем попадя. И добрые люди подкармливают.

— Какие добрые люди?

— Босяки разные, хапушники с бана. И тетя Дора.

— Тетя Дора? — усомнился я.— Которая в доме Муравьедов на первом этаже живет?

— Ага. Тетя Дора Миромович.

— Соседка Горбатова ее Двойрой Наумовной зовет.

— А все другие тетей Дорой.

— Да ведь она — бедная. У нее своих-то малышей трое. Они же все голодают.

— Голодает, а меня угощает. Когда утром на керо-

газе лепешки из отрубей печет. Мишке, Марке, Машке — всем по лепешке и мне — тоже. Ежли б не тетя Дора, я бы давно дубаря дал с голодухи. А то, что она бедная, дак это точно — половиком вся семья укрывается, на одной кровати спят да на полу. Все шмутки загнали. Бедные-то и помогают друг другу. А ты хоть раз видал, чтобы богатый кому помог? Богатые для себя живут.

— Факт,— припечатал я свое полное согласие любимым Юнькиным словечком. И вспомнил толстую и пронырливую Гудиловну и ее румяного Шурика, жующего бутерброд со сливочным маслом, щедро посыпанным мелким импортным сахарным песком. У таких богатеев хоть помри, а хлебной крошки не выпросишь. А тетя Дора, поди ж ты, последней лепешкой делится. И с кем? С Гундосиком, который и живет-то в другом дворе. А ведь у Миромович кроме трех истощенных малышей старуха мать, парализованная, она с кресла-то не встает.

После признания Гундосика у меня резко изменилось мнение о тете Доре, и я причислил ее к тем, кого пацаны называют «мировыми» людьми.

— Тетя Дора сначала Боба жалела, он у нас вроде дурачка. А опосля и меня. Она меня сынком зовет. Дак я вот что надумал: попроситься к ней в заправдашние сыны. А когда она старенькая станет, я ее в кресле буду одними ливерными пирожками кормить и морсом с сахарином поить. Сколь хочет. Только не отказалась бы меня взять. Как думаешь, возьмет? А Бобка пущай, кода срок оттянет, у маманьки с папаней остается. Ежли ему охота.

— А за что Боба в колонию упекли?

— Мы с ним на бану крынку молока слямзили. И выдули тут жа. Нас и замели с той крынкой — с поличным. Бобку зачалили, а меня отпустили. Не затюряжили — лет не хватило. Год и месяц. Энто нонешней весной было.

Венка был с тридцать шестого, но вел себя как более старший. Головастый пацан. За четырнадцатилетнего со-

шел бы по сообразительности, а вот ростом... Совсем не растет.

— А ты чего не моешься? — спохватился Гундосик.— Затрекались мы с тобой.

— Я не мыться сюда пришел,— признался я неохотно.

— А зачем?

— Из дому... сбежал.

— Ну да? Тебя ж родители кормют, одеют, чего еще надо? Папаня у тебя вон какой важный начальник — весь в хромачах. Зырил я, как его на легковушке подвезли к самым воротам. Целовался он с каким-то шибздиком в кителе и прохорях.

— Это Пухляев... Майор.

— Во, вишь, с кем у тебя папаня якшается — не шантрапа какая-нибудь — маёр... Может, вернешься?

Я промолчал — чего убеждать его, к чему?

— Побил он тебя или чо? Дак это заживет. Привыкнешь.

— Нет уж, не привыкну. Не хочу привыкать.

— Ну и дурак. От сытной жизни — сам отказываешься. Что, плохой папаня у тебя? Мой — лучше?

— Не в том дело. Отец у меня, действительно, ничего.— Мне претило рассказывать Венке о наших с отцом отношениях.— Когда выпьет, то песенки из опереток поет. Из «Цыганского барона», из «Сильвы». А ночью во сне как закричит: «Шпарь прямой наводкой! Бей его!» И — матом! И как застонет. Это ему фронт снится. Хватил он, видать, горя.

— Может, и мой оттого пирует?

— Мож быть.

— Нет. Из-за мамки. И чего она в этих мужиках хорошего нашла? Только обижали ее. А теперича вон папаня ей ребра считает... Один напьется — добреет, а другой — как зверь. Почему так?

— Не знаю,— слишком трудный вопрос задал мне Гундосик.

— А у тебя папаня добрый или злой?

Я пожал плечами, не найдя, что ответить. А про себя задумался.

В самом деле — какой у меня отец? Добрый? Не сказал бы. Злой? Редко. Никакой. Он и не добрый и по-настоящему злым почти не бывает. Вскипает, если его потревожишь. А терзает меня, когда его Крысовна натравит. Или кто из соседей. А в остальное время как бы не замечает — что я есть, что меня нет. Со Стасиком забавляется на диване после сытного обеда, щекочет его, шутит. А я уже не игручий, взрослый уже. Не любит он меня. А вот за что — ума не приложу. Неужели я такой плохой?

Народу на этажах поубавилось. Наверное, время клонилось к полночи. В такую пору я всегда спал. И сейчас глаза слипались. Так и уснул бы, где сидел.

— Идем дрыхнуть,— пригласил Венка, видя, что мне невмоготу.

— Ты же говоришь, окна выбиты и двери нет. Замерзнем начисто, в холодрыге-то.

— Чудак, я тебя рази домой зову? Под бак.

— Куда?

— Под бак. На чердаке. Лафа! Ташкент!

— А пустят нас?

— Какой дурак о таком кого спрашивает? Идем — и все.

Мы поднялись на третий этаж. По металлической громыхающей лестнице пробрались под самый потолок. Венка толкнул плечом маленькую, обитую ржавым железом дверцу, и на нас вмиг обрушились трескотня и какой-то густой обволакивающий гул. Там, в утробе чердака, рычал большущий железный зверюга.

Венка захлопнул дверцу, и мы очутились в полной темноте.

Со всех сторон нас долбил грохот, от которого содрогался пол.

— Давай руку! — выкрикнул мне в ухо Венка.

Спотыкаясь, я волочился за поводырем, пока не наткнулся на теплый вибрирующий бок, вероятно, огромной цистерны. Гундосик потащил меня дальше, вдоль этой цистерны, в которой оружейными залпами трещала и шумела падающая вода, нагнетаемая, вероятно, мощным насосом.

— Лезь сюда,— еле расслышал я Венкин приказ.— На карачки становись.

Я опустился на четвереньки, подлез под брюхо цистерны и пополз вслед за Венкой.

— Сюда. Легай. Курорт! И менты не заметут — им сюда не пролезть — больно толстые.

— А что, здесь и милиция бывает?

— А ты думал! Взрослых имают.

— Кого — взрослых?

— Блатных. Вороваек разных, шалав. Бродяг. Которые от хозяина из лагеря освободились. Или убежали. Ну всех, у кого свово дома нет.

— Есть разве люди, у кого нет своего дома?

— Ты что — глупой?

Я и в самом деле считал, что у каждого человека есть или должен быть где-то свой дом — а как же иначе? А оказывается...

Мне от Венкиной реплики даже неловко перед ним стало — за свою наивность.

— Засмолим? — предложил Венка.

— Куришь?

— Махру. Чинариков насбирал на трамвайной остановке — на пару «козьих ножек» с походом будет. А — ты? Слабо?

— Не курю. Тошнит с табаку. Мы листья сирени курили — тоже противно.

— А я и вино пил. Леня Питерский угощал. Вкусно! И весело так, легко! Как будто летишь. Погодь-ка, я сичас.

Венка куда-то стал протискиваться, в какую-то щель, наверное узкую, и даже заехал мне в бок своими рваными опорками.

Когда Гундосик уполз, меня полоснула жуткая мысль: а если он не вернется и я останусь один — что тогда? Я и выхода-то не найду.

— На месте! — ликующе выкрикнул Венка.— Тута.

— Кто?

— Шекспир. Держи. Я его из дома сюда притаранил. Чтобы не сперли. И — фантики. И затырил. А счас рюхнулся: не обшмонал ли кто мою заначку и — тю-тю...

Я общупал твердый картонный пупырчатый переплет уже знакомой мне книги — Венкиного сокровища, тома, изданного Брокгаузом и Ефроном.

— А ты прочитал книжку-то?

— Шекспира?

— Ну да.

— Всего. И другорядь. Многих листов нету. А то, что осталось,— все прочитал. Некоторые твердые знаки сначала не понимал, а после дотумкал, что это «е» такое.

— Понравилось?

— Ух, антиресно. Короли мне только не ндравятся — убивают друг друга, яд подсыпают в кубки с вином. А чего убивать? Чего им не хватает? Не по карточкам, поди, хлеб получают... Хорошо-то как здеся. Дадим храпака?

— А подушки нет?

Венка затрясся от хохота.

— Может, тебе еще и одеялу дать? Ну, сказанул Долгов.

Кое-как примостившись на каких-то тряпках, я уже почти задремал, как по шее что-то поползло. Я попытался вскочить и больно ударился головой о гудящее железо.

— Венк! Кто-то ползает!

— Тише ты! Облава, наверно. Замри, а то услышат дяди-гади.

— Да нет же. Букашки какие-то. По шее...

— А... Это — бекасы. Их тут — хоть горстями греби.

— Какие бекасы? Птички, что ли?

— Бекасы — птички? Ты чего лепишь?

— Да, у Брэма в «Жизни животных» о них написано, в четвертом томе.

— Не знаю. У кого птички, а у нас — воши.

— Вши?!

— Ага. А ты чего? Почешешься малость — только и толков. Дрыхни!

Но я не мог долго уснуть. В нашем доме никогда не водилось никакой подобной живности. Даже таракана я впервые увидел на рисунке в школьном учебнике.

Я долго мучился, мне все бластилось, что по всему телу ползают отвратительные насекомые.

Не сразу мне удалось забыться. Очнулся я от щелканья в ушах.

Меня томили жара и духотища. Та же непроглядная тьма царила вокруг. Еще ночь? Или наступило утро? А может, уже день?

— Венк, ты спишь?

— Надрыхался всласть. Ух, благодать какая...

— Как ты думаешь, сколько времени?

— Время? Баня еще закрытая. А открывается она в семь. Я тебе скажу, когда мыться начнут.

— А как ты узнаешь?

— Услышу. Вода пуще зашумит.

Голод напомнил о себе. Но не очень я от него еще страдал, хотя за последние два дня съел едва ли только не пару помидорин да семенной огурец.

Терпи, внушал я себе. Голод — чепуха. Можно много дней не есть, и ничего, не помрешь. Думай о другом. О чем-то хорошем. О книжках любимых.

— Шамать охота? — словно угадал мои мысли Венка.

— Поел бы. А найдется?

— Печенки. Три штуки. В золе вчера испек, пока Немого в котельной не было — уканал куда-то, бес.

— Это банный слесарь?

— Ага. Гоняет нас из котельной. Сильный, как сатана.

Одной ручкой поднял меня за шкирку и во двор выбросил.

— А отсюда он нас не выгонит?

— Да ты что, сдурел? Как он сюда пролезет? Мы тут как у Христа за пазухой.

Да, действительно, подумал я. Если б не Венка, где бы я мыкался? Опять на вокзале ежился бы, сидя на плиточном холодном полу.

— Держи,— Гундосик сунул мне в руку шершавую твердую картофелину и принялся ощупывать мое лицо.

— Ты чего? — удивился я.

— Кусай половину.

— Хватит мне.

— По совести.

Я откусил, кажется, большую часть клубня.

— Шамай. Красотулина какая... Так бы всю жись и пролежал здесь — никто не теребит, не лезет в душу. Тепло, и мухи не кусают. Потрекаем?

— О чем?

— Про жись. Ты чего хотел бы иметь? Чтобы в твоем дому было.

— Из мебели, что ли?

— И небель — тожа. И все другое.

— Для себя?

— И для родных. Для отца, матери, для братана.

— И друзей?

— И друзей.

— Честно?

— Давай катай.

— Чтобы еды было много-премного. Вдоволь для всех. И хлеба — белого. Мягкого. И молока. Ну, и другого всего. Книжек разных хороших. Про путешествия. Про другие планеты. Чтобы мама наконец-то отдохнула от работы, а то...

— Чур, только про то, что можно потрогать, а не фантазии.

— Чтобы...— я осекся.

— Ну, чего?

Я понимал, что этого нельзя никому доверять,— я думал о Миле. И если б отважился высказать вслух свои глубинные мысли и желания, защищенные от всех непроницаемой броней тайны, то пожелал бы, чтобы Мила всегда жила в нашем доме, рядом со мной, и я видел бы ее каждый день. Больше мне от нее ничего не надо.

Но поведал я о другом, правда, тоже близком мне.

— Чтобы у мамы было новое платье — красивое. Как у Любовь Орловой. И туфли на высоком каблуке, с бантиком.

— Еще чего хочешь? Короче.

Я призадумался. У отца все, на что было способно мое воображение, есть. И даже сверх того.

— Ну?

— Чтобы никто никогда не обижал ни маму, ни Стаську...

— Это опять — фантазия.

— Чтобы с друзьями никогда не расставаться. Всю жизнь.

— А на кого ты хочешь походить?

— Как — на кого? На себя, на кого же еще. А, ты вот про что! На Олеко Дундича.

— А кто это?

— Герой. Гражданской войны. Ох и храбрый. В драмтеатре пьесу смотрел. Его в плен взяли, в голову раненного. И сам генерал Шкуро допрашивал его, со связанными руками за спиной,— боялся красного командира. А Олеко Дундич говорит: «Вы меня не подкупите. И не запугаете. Я лучше умру, но Революцию не предам».

— Убили?

— Расстреляли. Но он и перед казнью выкрикнул: «Да здравствует Революция!» — присочинил я.

Венка замолк.

— А я буду таким, как Леня Питерский. Чтобы

в бостоновой лепехе ходить, в прохорях хромовых — гармошкой, с подбором белым. Денег у него — куча, во всех карманах горстями. И две фиксы рыжие.

— А почему на него-то ты хочешь быть похожим? — не уразумел я.

— Потому, что его все уважают. И блатяги, и фраера, и марухи. Денег у него что семечек в мешке. Дошло? Чего еще ты загадал?

— Ничего. Все.

— Все? — удивился Гундосик.

Немного еще покумекав, я подтвердил:

— Все.

— Ну и дурак.

— Почему это? — обиделся я.

— Потому, что песенку не знаешь:

Всюду деньги, деньги, деньги.
Всюду деньги без конца.
А без денег жись плохая,
Не годится никуда...

Меня ошеломила эрудиция Гундосика. Откуда он всех этих премудростей нахватался? А Венка уже отвечал на мой не заданный ему вопрос.

— И маманя грит, что была бы самой щасливой в мире, ежли бы у нее денег было сколь хошь. Ее замуж обещал взять один начальник, она у его в конторе уборщицей мантулила. Дак папаня помешал, в загс утащил. Зырил, какая она на потрете раскрасавица? Народная артиска! Папаня ей жись испортил. А то она была бы в кребдешин и кружева разодета, в фильдеперсовых чулках ходила бы, в роскоши и молоке с медом купалась бы...

— А зачем в молоке купаться? — подивился я.— Да еще с медом, он же — липкий.

И представил, как нарумяненная тетя Паша в праздничном платье с кружевами барахтается в роскошном корыте, наполненном молоком с медом,— чушь какая-то, нелепость.

— Венк, а почему мама твоя нигде не работает? Все робят, а она — нет.

— Донор она. И гадалка. За гроши ворожит. И вопче за антирес. На картах и по руке. А лучше всего у нее получается на бобах. На фасоли — хужее. Правду говорит, ей-богу. К ней много народу ходит гадать. Суседки и издалёка.

Я припомнил, как несколько раз заставал, прибегая к Бобу, тетю Пашу словно в обмороке лежащей на кровати — после сдачи крови. И не однажды видел у нее незнакомых и нездешних женщин, которым она бойко и уверенно предсказывала «нечаянный интерес», червонных, бубновых и трефовых королей, коварных пиковых дам и известия из «казенного» дома. Слушать обо всем этом было довольно забавно, и поначалу меня удивляла чудесная способность тети Паши увидеть человека в его будущем, но после я усомнился в правдивости ее прорицаний, иногда повторяемых слово в слово совершенно разным людям. Более того — недоумение у меня вызвало то, что она плату за свои гадания берет. Как будто за работу. Ну ладно, цыганки на базаре, те обманывают, обирают, попрошайничают — у них обычай такой, но тетя-то Паша не цыганка.

— А ты тоже умеешь гадать? — полюбопытствовал я.

— Еще чего!

И в этом восклицании Гундосик выразил свое презрение к позорному занятию.

— Подрасту,— мечтал Гундосик,— фомку железную сделаю, отмычки и банк возьму. В ём денег — горы! И все — в пачках — тыщи пачек!

— С ума сошел! Ты хоть понимаешь, о чем треплешься? Это ж грабеж!

— Ну, и што? У меня и кент есть, с кем на дело пойти,— Леня Питерский. Он — фартовый. И к мамане хорошо относится, душевно — деньги ей давал. Мы с им любой банк на гоп-стоп возьмем. И всю жись опосля фелонить, в потолок поплевывать да по ресторанам шляться. Во жись!

Я не представлял, что это за жизнь такая — гулеванить без просыпу.

— Венк, а ведь банки грабят лишь за границей, при капитализме. Я так вычитал.

— А у нас — нет?

— Нет.

— Тогда остается фраеров грабить, начальников всяких...

— А почему их можно грабить?

— Потому что они тоже воруют, начальники. Поэтому и в начальники лезут, чтобы воровать — от души.

— Не все же начальники жулики, есть и честные. Вот у нас эвакуированные ленинградцы жили. Она была начальницей, а ничего не крала, по карточкам и талонам получала. И вещей у них никаких не было, только что на них надевано.

Но тут я вспомнил, как еще в сорок втором, зимой, когда у нас полмешка черных, довоенных сухарей реквизировали, признав излишками продуктов питания, а однокласснику Жорке Аверову очень приглянулся наш том Пушкина с цветными картинками, подаренный маме за отличное окончание девятилетки, и мама решилась его продать, тогда я и попал в дом Аверовых. Отец его работал главным инженером ликеро-водочного завода и слыл в нашей ребячьей среде большим начальником, ибо даже директриса школы обращалась к нему с просьбами о покраске окон и дверей, как к шефу.

Жорка провел меня в свой пятистенный домище, и я не мог не удивиться бочке с жидким свиным салом — выше меня, стоявшей прямо в сенках. А когда Жорка откинул крышку ларя, набитого доверху окороками, шматками соленого сала, к тому же с потолка свешивались крупные гусиные туши, то глазам своим верить не хотелось — я знал, почем маленький кусочек шпига на базаре. Жорка и расплатился с нами этим соленым салом — большой кусман секачом отрубил.

Тогда я как-то не задумался, откуда такое невероятное

количество жиров у Аверовых, а сейчас не сомневаясь сказал себе: наверняка то сало, хотя бы в бочке,— краденое.

— Я буду грабить только начальников-жуликов. Это не грех.

— А как ты узнаешь: честный начальник или мазурик?

Венка задергался, не находя ответа.

— Уж лучше самому заработать,— сказал я.

— Жаль. Тогда заработать придется. Есть же такие работы, где хорошо платют?

— А как же. Закройщикам. Да мало ли...

— Гер, а ты чего из дому чухнул, а? — вдруг снова стал допытываться Венка. Ох и въедливый пацан.

— Да так,— попробовал отмахнуться я.

— Чего темнишь? А еще — друг. Колись на всю катушку.

Но как было рассказать всю правду? Да и в чем она — вся?

Может, лупцовки я и стерпел бы. Хотя едва ли. Но суть в другом. Когда папаша после очередной беседы с завучем Крысовной полосовал меня ремнем, я молчал, стиснув зубы. Я поклялся себе, что не закричу и не зареву. И страшился я не боли, а что не выдержу. И тогда мой вопль может услышать Мила. Вот чего я боялся.

О ней я и подумал. Сейчас она мне часто вспоминалась, и всегда — с пронзительной радостью. Так я узнал, что сердце может щемить не только грусть. И я смело вызывал Милу в своем воображении, что было легче легкого, и девушка тотчас являлась, и я видел и слышал ее столь же явственно, как в действительности. Она отвлекала меня от тягостных переживаний, сомнений, угрызений, самообвинений и вела за собой в светлый мир ее сдержанной чистой улыбки и чарующих переливов нежного голоса. Именно такой она мне представлялась, Милочка.

Теоретически мне были известны интимные отношения между мужчинами и женщинами, но о Миле я и мысленно не мог такого допустить или даже представить ее

в своих объятиях. А уж в чьих-то — и подавно. Ведь Мила не как все, она — особенная.

Минувшим летом, в одно изумительное светлое утро, я беседовал с Милой, сидя на подоконнике кухоньки Бралковых, куда взгромоздился со двора.

Она мыла пол и, светясь своей чудесной улыбкой, шутила, необидно подтрунивала надо мной. И когда она нагнулась в очередной раз, я увидел в прорезе ворота ее платьишка то, чего не должен был видеть,— маленькие белые груди. И сразу смутился настолько, что лицо набрякло от прихлынувшей крови. Мила, очевидно, не догадалась о причине моего смятения. А ведь обнаженные женские и девчоночьи тела я не однажды видел на Миассе, и ничего — не сгорал от стыда. Наоборот, эти зрелища были жгуче-притягательны, и украдкой я наблюдал за купальщицами, не в силах оторвать и перевести взгляд. А тут и глаз не посмел поднять, чтобы снова не наткнуться на запретное. А запрет возник во мне же, я его сотворил — иначе и поступить не мог, ведь передо мной находилась — Мила.

Она сейчас присутствовала как бы всегда рядом и близко, и в то же время нас разделяло что-то непреодолимое. И эта невозможность полного единения меня угнетала, раздражала и порой ввергала в отчаянье. Я стремился к Миле и одновременно не смел приблизиться. В этом-то и заключалась мука.

Я и сам не в состоянии был разобраться в том, что со мной происходит, почему меня неодолимо влечет к Миле и не пускает, а уж Венке объяснить что-либо я не смог бы, даже захотев. Но я еще и не желал заикаться на эту тему. Я твердо знал — про себя! — что люблю Милу. Это открыли мне мои же стихи.

— Ты чево молчишь? — толкнул меня Венка.

— Стаську жалко. Без меня его задирать будут.

— А, чухнуть собираешься! — воскликнул Венка.— В другой город?

— С чего ты взял?

— Поехали на пару! А? Мамане я все одно не нужен. А о папане чего и говорить. Поехали?

— Куда?

— В самый лучший город в мире. Знаешь, как он называется?

— Москва.

— А еще?

— Челябинск.

— Ну, и сказанул! Самый фартовый город на свете — Ленинград.

— Ты в нем был?

— Мне Леня Питерский трекал, щипач авторитетный. Он ночевал у нас три ночи.

— Так что он тебе говорил?

— Все там — красивое: дома, улицы, высоченные мосты. Памятник там стоит царю — на коне. Конь — со слона! И шпиль там есть, на крепости, из чистого золота. Даже ночью горит. А ночи там светлее, чем у нас днем.

— Читал я об этом. У Пушкина. Ну, и что?

— У Пушкина. Самому бы повидать. Город-то — герой. И люди в ем живут — герои. Леня Питерский говорил. Он родом из Питера. Только нет ему в жизни щастья. Сирота он. Все с голоду померли. В блокаду. Да ты его зырил — на площади. Когда салют был. Он щипал, а мы на отводе стояли. Иль пропаль брали.

— Что за пропаль?

— Не знаешь? Это когда с чердака, к примеру, сдернешь гроши, а пока фраер не рюхнулся, незаметно кенту передашь пропаль, а он — когти рвет. Схватят щипача фраера подлые, а у ево нет ничего — докажи, что он гумажник уволок. Ты и отвода не знаешь?

— Нет.

— Это когда ты фраеру глаза отводишь, просишь, к примеру, чего-нибудь, а щипач в энто время...

— Гадость какая! Ты говоришь, я его видел? Доходной такой, костлявый, с фиксой?

— С рыжей — из чистого червонного золота. И в лепехе бостоновой, в белую полосочку.

— Я его знаю, гада. Он у меня рыбу украл. На паровозе, когда я на фронт ехал.

— Божись!

— Легавый буду! Он еще бритвочкой хотел мне глаза вырезать.

— Ну!

— Вот тебе и «ну». А ты: Ленчик, Ленчик! А он — бандюга.

— Не, он чистокровный карманник. Благородный. У ево и папаня урка был. И в Ленинград сулился меня свозить.

Я же, слушая Венку, размышлял. А почему, собственно, и не поехать в Ленинград? Без всяких Ленчиков. Отцу я тоже не нужен. Мама — не за меня. Да и Стасик с ними остается. Маму только жаль. Но...

Не в состоянии и она понять, что не получается у меня, как ни стараюсь, чтобы в точности выполнять все отцовы приказания. Ну не получается! Что же делать мне? Терпеть? До каких пор?

Об этом я ей откровенно и раскрылся.

— Плохо стараешься, сын,— упрямо внушала мне мама.— Старайся, и все получится. Захочешь — получится.

И это втолковывает мне она! К кому же мне еще обратиться? Не к кому.

— Дело говоришь,— сказал я Венке.— Поехали в Ленинград. Спросят — соврем, что родных ищем.

— Придумаем чего-нибудь подходящее. Я буду побираться в теплушках, песенки жалобные петь, романцы, а ты — будто мой глухонемой брат, двоюродный.

— Нищенствовать? Ну уж нет. Робить будем. Что, мы с тобой на билеты не наскребем? Я знаю, как можно честно заработать,— в утильсырье. Мне и другие способы известны, но сейчас они не совсем подходящи. Белых мышей, например, разводить и продавать.

— Неужто такой дурак найдется, что мышей купит?— перебил меня Венка.

— Так то ж — белых. В мединституте их с руками оторвут, для опытов. И хорошо платят. А если со свалок да отовсюду с утра до вечера в ларек на улице Пушкина на тележке всякое добро возить, вдвоем, да мы с тобой кучу денег загребем — честно! И через месяц будем по Ленинграду гулять... Посмотрим, что там за шпиль золотой.

Венка помолчал, вероятно обмозговывая мои соображения.

А я уже видел себя в самом красивом городе в мире, на высоком ажурном мосту через всю Неву, под нами проплывают белые пароходы, украшенные красными трубами с черными шлейфами дымов. И капитан на одном из таких пароходов — я их в детстве любил рисовать — с трубкой в зубах, отдает мне честь — ведь на мне морская форма, фуражка с золотым «крабом», кортик на боку, такой, как у Вольки Калача.

— Пошла.

— Кто?— насторожился я.

— Вода. Семь часов. Даванем клопа еще с час? Рано куда пойти — смысла нет.

— Если хочешь — спи, а я покумекаю.

Венка притих. А меня полонили мысли о будущем нашем житье-бытье. Дома, это очевидно, куда лучше, чем вот так, под баком. Но о возвращении не может быть и речи. Здесь я себя человеком чувствую. И не опасаюсь, что за какой-нибудь пустяк схлопочу затрещину или получу трепку. Вторые сутки начались моей новой, вольной жизни. Ко мне возвращалось спокойное осознание собственной значимости и того, чем я занят. Я снова поверил в свои устремления, в их осуществление, в свои мечты, смелые, даже — дерзкие.

В Ленинграде легче будет поступить в мореходное училище. Я тотчас увидел себя юнгой — сильным, стройным, с выправкой настоящего морского волка, в бес-

козырке с якорными ленточками, в форменке, из-под которой видна тельняшка.

Мореходкой я заболел, когда в отпуск нынче приехал наш свободской парень по старой кличке — Калач. Из шпаны, каким я его помнил, Волька за год превратился в благородного мушкетера.

Он показывал нам настоящий кортик, чем вызвал безмерное уважение к себе и кое у кого — зависть. Я сразу и страстно захотел стать моряком. Таким, как Воля. И сказал себе: «Вот — главная цель твоей жизни. Действуй!»

Но об этой своей мечте я вообще никому не проронил ни слова. Чтобы не насмехались. А то кое-кто наверняка и дразнить принялся бы:

Моряк с печки бряк,
Растянулся, как червяк.

Так одного пацана из соседнего шестого класса доводили. Он проговорился, что поедет учиться на моряка в какой-то город со странным птичьим названием Соловки.

На переменах его подначивали:

— Эй, моряк, ракушки с зада счисть!

Или еще с какими-нибудь подобными шуточками приставали к Костюкову. А был он не из робких, и не одному заводиле достойно отплатил за насмешки. Но в травлю включились старшеклассники, а с ними не так просто было посчитаться. Юрка зло огрызался, сопротивление его вызывало ответные нападки, еще более беспощадные. Так вот, чтобы над моей мечтой не изгилялись, сделал ее тайной.

Я представил себя в бескозырке с золотой надписью: «Юнга», возвратившимся на побывку в будущем году. Вот я захожу во двор. Навстречу мне по тропинке идет Мила. Выражение нежного лица ее совершенно ново. И смотрит на меня она иначе, чем раньше,— с особой заинтересованностью и участием. И я говорю ей:

— Здравствуй, Мила. Я приехал к тебе. Чтобы

повидать и сказать об очень важном, о самом важном в моей жизни...

А тут Стасик откуда ни возьмись возник, ластится ко мне, форменку трогает, на зеркальную бляху с якорем дышит. И мама: «Гоша, где ж ты был, сынок? Я тут без тебя совсем извелась». И папаша рядом с ней стоит, смотрит, молчит, курит беломорканалину. А я ему:

— Вот, отец, я стал взрослым. И ты меня уже не посмеешь тронуть. Я тебя не боюсь.

Венка завозился, толкает в бок:

— Кончай ночевать. Выпуливайся. Сматываемся, пока наверху взрослые не встали.

— А как они нас увидят? Ведь темно, как у негра в животе.

— У них свечки есть, фонарики. Они ж там в карты шпилят, пьют да с дешевками шухарят — малина!

Но на баке не мерцал ни один огарок. Все, наверное, еще почивали. А возможно, там и не было никого.

Выйдя на улицу, мы прикинули, куда навострить лыжи.

— Похряпать бы чего нито,— сказал Гундосик.— А то кишка кишке протокол пишет... К тете Доре — рано.

— Вен, знаешь что,— озарило меня.— Бежим в военторговскую столовку, на Карла Маркса.

— Там же по талонам. Нас и в залу не пустят.

— На кухне пошныряем. Повар мне знаком. Не то чтобы лично, а видел, он к Фремовым приходил. Тетя Маша ему галифе шила во с такими карманами. Он с усиками, и волосы на голове намазаны чем-то — блестят.

— Ну и что, что блестят? Так он и раздобрился.

— Мы не за красивые глаза будем клянчить, а повкалываем на кухне. Дров нарубить или угля принести. В топке пошуровать или помои вытащить — мало ли чего. Короче: заработаем, не горюй.

Быстро дошагали до улицы имени Карла Маркса. В зал нас, как мы и предполагали, не пустили, и мы перемахнули через забор во двор с запертыми изнутри воротами.

— Вам чего тут надо?— заметил нас мой «знакомый» повар.— А ну кыш, а то собаку спущу.

Насчет собаки он нас хотел на пушку взять.

— Дяденька, можно, мы у вас заработаем поесть?- попросил я.

— Три дня ничего не ели,— добавил Венка, жалобно хлюпая носом.— И маковой росинки в роте не было.

Повар прекратил рубку мяса на выщербленном толстенном чурбане и переспросил насмешливо:

— Три дня?

— Сироты мы, добрый дядя. Отца на фронте убило, мать — с голоду померла,— бессовестно врал Венка, нарочно гундося еще сильнее.

Я почувствовал, как от стыда у меня запылали уши,— он ведь и меня в «сироты» зачислил.

Но провести повара было, видимо, непросто. Он догадался, что мы не те, за кого себя выдаем, и с усмешкой спросил:

— И что желают бедные сиротки на завтрак: антрекот или месо по-строгановски? Вон тот сиротка,— он кивнул в мою сторону и трахнул палаческим топором по бараньей туше.

— Мы не за так просим. Мы любую работу умеем.

— Улепетывайте отсюда. Нищих много, а подать — нечего.

Я вспомнил о еде, какую этот франт в белоснежном крахмальном колпаке и в щегольских тети Машиных галифе комсоставского синего сукна щедро отвалил для фремовских собак, и подумал, что мы не отказались бы сейчас от подобного лакомства. И еще подумал: смеется над нами. Ему приятно над другими насмехаться, вон какой упитанный и румяный, и усы, как у жука, торчат. Жук!

— Ильич!— послышался из-за затянутых марлей половинок двери женский голос.— Капустников! Быстрее.

— Айн момент,— весело отозвался повар, прислонил к обрубку бревнышка страшный свой топор и шустро рванул к двери.

— Даже фамилия у повара съедобная,— позавидовал Венка.— Давай кусок мяса стырим.

— Ты что — сдурел?

— Хоть вон тот мосол. Он и не заметит. А я его в штаны заначу, за пояс. А поймают — все одно не посодют, потому как годами не вышел. Пока поварюга прибежит, я уже через забор и — аля-улю.

— Ну и что, что не посадят? Совесть-то у нас должна быть?

— Папаня грит, где совесть у людей была, там овощ вырос.

И шагнул к чурбану, с которого свисала туша.

— А ты кричи: ничего не видал.

— Не тронь! А то я тебе...— рассвирепел я.

— Сварили бы,— умоляюще произнес Гундосик.— В цинковом ведре.

— Отвали.

— Дурак ты, а не кореш!— зло выкрикнул Гундосик.

Я показал ему кулак. Не знаю, куда нас завел бы спор, если б не возвращение Капустникова.

Ждать чего-либо благоприятного от него вроде бы не следовало. Но мы не убежали, не отступили, а топтались возле чурбака. Венка держался несколько позади меня.

Повар выпрыгнул во двор, будто вдогонку ему плеснули крутым кипятком. Увидев, что мясо на месте, и переведя дыхание, он удивленно произнес:

— Не сперли! Не успели?

— А зачем нам чужое?— якобы равнодушно подыграл Венка.— Мы порядочные люди, не какие-нибудь шарамыги или кусочники.

— Погодите. Айн момент,— прожевывая что-то на ходу, прошамкал повар, но уже без прежней дурашливости, серьезно.

Он быстро и сноровисто раскромсал остатки туши, сбросал куски в начищенный до зеркального блеска бачок из желтой меди с тем же невероятным словом, начер-

танным суриком: «Месо», положил туда же и секиру, легко поднял посудину и бегом, расшарашив ноги, засеменил к двери, затянутой марлей.

Ждали мы нашего благодетеля долго. Точнее: нам так показалось. Капустников появился стремительно и потому неожиданно. На ладони, как цирковой фокусник Ван-Ю-Ли, он держал большую тарелку, наполненную чем-то съестным. В другой руке его были зажаты куски хлеба — несколько.

— Ешьте, огольцы. Во что вам?

Я замешкался.

— Тарелка — государственная,— сказал он.

— Давай сюда,— нашелся Венка.— Сыпь!

Он сдернул шапку и подставил ее.

Повар осклабился, уж очень его забавляла эта сценка, и опрокинул содержимое тарелки в Венкин головной убор, отнюдь не отличавшийся, как я заметил, чистотой.

Я протянул ладони и повар положил в пригоршню разнокалиберные кусочки серого хлеба. Серого!

— Спасибо,— поблагодарил я.

— Рвем отсюда когти,— засуетился Венка.— Пока шакалов не видать.

— Каких еще шакалов?

— Которые отымают у малолеток. Парни взрослые, хапушники. Кодлами ходют и шакалят.

— Те, что на Миассе?

— Да они — везде.

Разумное предостережение.

Устроились мы пировать на борту сухого фонтана в ближайшем сквере. Кругом было безлюдно, палая листва тополей и сирени хрустела под ногами, и мне стало почему-то грустно.

— Смотри-кася, кирюха, есть же еще фраера, что хлеб до конца не доедают,— подивился Венка и показал мне ломтик с надкушенным краем.— Во, буржуи! Такие и выбросить могут...

— Хлеб никто не выбросит,— уверенно возразил я.— Это ж — хлеб.



— А это чо — кирпич?

— Может, он свой отдал, от пайки. Сел завтракать, а тут мы подоспели. А он подумал, Ильич этот, Капустников: свой кровный отдам, а сам как-нибудь на супе перебьюсь.

Венка мне не поверил, но и спорить не решился.

Из шапки он выскреб все до крошки и удовлетворенно произнес:

— Шик! Шикарно похряпали.

И нахлобучил шапку.

— А знаешь, почему поварюга раздобрился?

— Мало ли добрых людей.

— Чекалдыкнул. Ей-бо. От него вином так и разило. У меня нюх, как у собаки. Маманя хлеб спрячет под половицу, когда еще не истопили, а я все одно найду — по запаху.

— Хор. Идем работать. Пока отыщем железяки да притартаем, дядя Лева свою лавочку откроет,— сказал я.— Местечко одно я давно заприметил — клад...

И мы пошли обратно, на улицу Труда, к трамвайному управлению. Там, возле худого забора, отграничивавшего двор от берега Миасса, валялось много обрезков медного провода, куски рельсов и другой металлолом.

Мы искренне считали, что все, валяющееся бесхозно на земле, не запертое и не огражденное,— ничье и принадлежит тому, кто его найдет,— чур, мое!

Забор, не чиненный много лет, обветшал, местами завалился, и территория берега как бы продлялась в глубь двора. На ней-то мы и стали хозяйничать. Правда, с оглядкой. Дважды нас прогоняла какая-то крикливая женщина. Но мы возвращались и, собрав то, что лежало наверху, выдергивали и выдалбливали металл, вросший в землю.

Трудились мы без продыху весь день, пока очень довольный нами дядя Лева не запер свой ларек. Подсчитали выручку — получилось совсем немного. Нет, за месяц нам не скопить на билеты до самого красивого

города в мире. И за полгода не скопить. Едва-едва добыли на пропитание. Да и то...

— На утиле не разбогатеешь,— подытожил Венка.— За что-то другое надо браться. Айда на хату.

Дворами вышли к Венке. Я увидел свой дом — издалека, и сердце сжалось в тоске. Но я скрепил себя — пора быть настоящим мужчиной, а не слюнтяем.

Заглянули в комнату Сапогиных — без двери, без половиц, в окнах — какие-то картонки. На стене, над кроватью, висит, как прежде, большой, раскрашенный акварелью фотопортрет молодой и неестественно красивой тети Паши. А под ним, на черном матраце, устроился, свернувшись клубком, дворовый, ничейный, забитый всеми и поэтому трусливый и визгливый, молодой пес Шарик.

Венка шугнул его со своей постели. Тот, скуля от страха, выскочил во двор и лишь там забрехал, залился тонко и зло.

Мы постучались к Юньке. Он оказался дома. Пошушукались с ним, чтобы Валька не услышала. Он нас репой из подпола угостил. Отец его уже не ночевал на заводе, а приходил из цеха спать домой, угрюмый, молчаливый, слова не вымолвит. Таким его сделала гибель жены, повесившейся в сарае в сороковом.

Отец Юньки мог вернуться с минуты на минуту, и мы, побаиваясь его почему-то, хотя он нам никогда никакого зла не причинял, поспешили к Гарешке.

Как истинный разведчик, я оглядывался по сторонам, пригнувшись, пересекал открытые пространства, прятался за электростолбы и в подворотни. От отца.

Гарешка попотчевал нас помидорами с солью и драниками-блинами из тертого картофеля. Там же, на сеновале, мы основательно побеседовали, обсудив мою и Венкину дальнейшую судьбу. Если б мы полезли в штаб, меня мог увидеть любой житель нашего дома, а этого я не хотел. Поэтому и со Стасиком избегал встречи. Хотя и не терпелось его повидать, обнять на прощание, одарив ценными житейскими советами. Правда, Юнька

и Гарешка пообещали его опекать. Это обещание меня несколько успокоило.

Гарик, выслушав нас с Гундосиком, согласился, что сбором и сдачей утиля не разживешься, одобрил мою идею насчет настоящей работы и на всякий случай дал нам адрес своего двоюродного брата, нашего сверстника, по кличке Валька Шило.

Несколько лет Шило обитал в детдоме, а сейчас работал токарем на ремзаводе недалеко от Челябинска. Жил он там же, в бараке, вместе с другими бывшими детдомовцами.

Игорешка обещал замолвить перед братом за нас словечко во время его очередного приезда в гости. А если мы, решил я, надумаем наведаться туда спешно, то и сами попытаемся договориться.

С Шилом я раза два встречался, но не сблизился. Он был постарше на год-два и жил другими интересами.

Что ж, попытаемся примкнуть к детдомовским, может быть, и примут к себе. Не вечно же под баком жить. Но пока и там сойдет, другого пристанища нет все равно. Венка уверял, что можно ночевать и в канализационных колодцах, там тоже тепло, на трубах центрального отопления, или в подъездах больших домов, однако я отстоял не менять убежища.

Выйдя дворами на Красноармейскую улицу, мы направились к бане, но мне так непреодолимо захотелось увидеть Милу, что я попросил Гундосика одолжить мне верхнюю одежду, не знаю, как ее назвать: пальто не пальто, похоже, что это был ватный подклад старушечьей кацавейки, неровно обрезанный снизу по Венкиному росту. Махнулись мы шапками. Венкина мне не пришлась впору и нависала на глаза.

Гундосик, окинув меня оценивающим взглядом, произнес:

— Личит. Никто не додует, что это — ты.

В этом наряде, еще глубже надвинув шапку, я про-

шел во двор двадцать второго дома никем не узнанный, влез на чердак и стал наблюдать за нашим домом.

Мне повезло. Я аж вздрогнул от какого-то внутреннего сильного толчка — и увидел, как на крыльцо вышла Мила, спустилась с него с ведром в руке, быстро и легко зашагала к уличной колонке.

Я еле дождался ее возвращения, весь напрягшись от переполнявших меня чувств — даже пальцы дрожали.

Вскоре я успокоился, сушь во рту исчезла, и я спустился вниз.

Мне значительно полегчало, и сил словно бы прибавилось. В памяти, из ее светлых глубин, возродилась и зазвучала прекраснейшая мелодия, та, что я однажды летним утром услышал в наушнике.

Женский голос, ласковый и щемяще печальный, пел о том, что зима пройдет и она, певица, вновь встретится с тем, кого ждала. Я млел на ходу от этой внутренней, только мне слышимой музыки, окрыленный тем, что увидел Милу. Но грусть просочилась сквозь мелодию — когда-то теперь мы встретимся? Зима еще вся впереди. Длинная-предлинная зима. А нынче она будет еще дольше, вдали-то.

Сухая колючая крупка сыпала в лицо, раскатываясь под ногами во все стороны. Венкин пальтуган вовсе не грел, и я озяб.

Гундосика застал я сидящим на скамейке рядом с входом в мужское отделение. Он спал — натаскался за день железяк-то.

Рядом гоготали мужики, курившие едкую махорку. Соседи задевали его, но Венка и ухом не вел.

Я его еле растормошил.

— Идем под бак, а то здесь кто-нибудь из знакомых увидит,— попросил я.

Венка встал, пошатываясь, и мы, напившись из-под крана в туалете и переодевшись, подались в нашу «заначку». Сейчас лохмотья под баком представлялись мне мягче пуховой перины тети Тони, которой она не раз хвасталась.

Отделение на третьем этаже почему-то не работало. На скамье в пустом предбаннике дремал какой-то мужчина, на которого мы не обратили внимания. Пригнувшись, вползли на площадку и открыли дверь. Опять, держась за рукав Венкиного одеяния и вытянув вперед руку с растопыренными пальцами, я шаг за шагом приближался к желанному месту отдыха. И тут слепяще ударил направленный в глаза электросвет. Я зажмурился и отпрянул. А меня уже крепко держали, обыскивали, выворачивали карманы.

— Чего вы!— ерепенился рядом Венка.— Чего лапаете?

— Федорчук, обыскал этого, что постарше?

— Так точно. Деньги.

— Какая сумма?

— Тридцать два рубля.

— А у второго?

— Ничего.

«Милиция! Влопались...» — догадался я.

— Вниз их. Без шума. В отделении разберемся.

Меня и Венку сопровождали спереди и сзади двое в гражданской одежде. Тот, кто вроде бы дремал на скамье, при нашем появлении резво встал и что-то сказал нашим конвоирам, я не разобрал — что.

Во дворе бани стоял черный лимузин. Без окон, с зарешеченной дверцей сзади. Нас затолкнули в него, предварительно еще раз обыскав. В автобусной утробе возбужденно гомонили несколько человек. В темном углу повизгивала какая-то женщина. Кто-то гоготал и даже отплясывал чечетку. Как можно было веселиться в такой обстановке?

Мы тесно прижались друг к дружке и молчали. Нас тут же оттеснили от решетчатой двери развязные и крикливые парни, вовсю изъяснявшиеся — напоказ!— на воровском жаргоне.

— Ништяк,— подбодрил меня Гундосик.— В «воронке» прокатимся. Лафа.

— Чего радуешься?— недовольно шепнул я Гундосику.

— Весело! В облаву втюрились! Давай договоримся: друг друга не знаем, на чердак случайно залезли. В несознанку прем. Идет?

— Идет,— ответил я и тут же поправился:— А зачем я буду врать, что не знаю тебя?

— Так надо, кирюха. Или ты расколоться надумал перед мусорами?

«Пожалуй, о себе и впрямь не следует там распространяться. К чему?»— мысленно согласился я с Венкой. А друг шептал в ухо:

— Банду имают. Слышал: «Черная кошка»?

— Не слыхал.

— Темнота! Слушай: они кошку подсовывают под дверь хаты, которую намылились грабануть. И сапогой — р-раз!— ей на хвост. Кошка как забарнаулит: мм-м-яйя-я... Хозяева дверь открывают, фраера, а их глушат. Начисто! А опосля на куски режут, в чемоданы и по городу разбрасывают. Жуть!

— Вранье все это,— сказал я, холодея от страха.

— Натуральная правда,— громко возразил Венка и тут же спросил:— Как думаешь, найдут дяди-гади Шекспира или нет?

— С собакой — найдут. А так — нет.

— Пофартило — у их нет собаки.

— А куда нас повезут?

— В мелодию. Куда же еще. В седьмое отделение. К Бате.

— К какому бате, чьему?

— К Батуле, к начальнику, давно с им не видался. Кликуха у него такая — Батя. Вроде как он всем нам отец родный.

Батула — знакомая фамилия. Она высветила в памяти моей портрет человека — усталого, терпеливого, озабоченного, похожего внешностью на простого рабочего с ЧТЗ. Тогда он был дежурным отделения милиции — вспомнил.

Времени-то прошло сколько — целая вечность, больше трех лет. Но встречи с Батулой я все равно не желал, хотя он наверняка уже сто раз забыл обо мне. Может, обойдется? Что мы такого натворили с Венкой? Ничего ровным счетом. Зашли на чердак. Так мало ли зачем можно туда заявиться.

— Вен, давай скажем, что разыскивали голубя-почтаря, который сел на крышу бани. Как?

— А — чо? Законно.

Избежать встречи с капитаном Батулой не удалось, как я внутренне ей ни сопротивлялся.

— Долгов!— вызвал меня из «отстойника» — огороженной барьером части прихожей — дежурный милиционер.

— Я,— отозвался я.

— К начальнику.

Во рту у меня будто самум пронесся.

— Можно попить?

— Пей. Быстро.

Я нацедил из цинкового потемневшего бачка в прикованную к нему цепью кружку теплой воды и крохотными глоточками оттягивал время нежеланной встречи. Но вода кончилась-таки, а когда я потянулся к крану, дежурный отрезал:

— Хватит! Шагай.

Я прошел в кабинет и, не глядя на хозяина его, потупился.

— Здравствуй, Долгов. Георгий.

— Здравствуйте,— промямлил я.

— Э, да мы с тобой уже встречались. Гера, кажется, тебя звать?

Произошло худшее — он узнал меня. Невероятно!

— Так, так. Выходит, снова к нам пожаловал. Это — плохо, Гера. Я тебя предупреждал?

— Ни за что взяли.

— Ни за что? А что вам с Сапогиным Вениамином понадобилось в техническом помещении бани номер один?

— Голубя искали. Почтарь у нас улетел.

— А ведь ты мне неправду говоришь, Гера.

— Почему это — неправду?— вяло оправдывался я, осознавая свою нечестность.

— Потому что в глаза не смотришь. Посмотри мне в глаза.

Я поднял глаза, но не смог удержать взгляд и снова поник.

За минувшие три с лишним года Батула очень изменился — постарел поразительно, усы его совсем побелели, волосы на голове — тоже, под глазами чернели мешки, резче проступили морщины на щеках и лбу. Видать, начальника измотала работа. Или болезнь. Но все-таки, наверное, работа.

— А теперь признайся, как пионер, с какой целью проникли вы на чердак бани? К кому шли?

— Я ж сказал: голубя искали.

— Голубя? Или людей? А такие тебе известны?

И он перечислил по памяти с десяток фамилий, ранее мною никогда не слышанных.

— Нет. Не известны.

— Хорошо. А по кличкам знаешь кого-нибудь? Свисток, Коля Маля, Коля Пионер, Валька Курица, Лепый...

Он продолжал называть клички, но я его уже не слушал. Лепого я видел много раз — отчаянный подросток с хулиганскими замашками уличного атаманчика. Он, кстати, местный, недалеко от бани живет, в полуземлянке.

— Нет, никого не знаю.

— Опять неправду говоришь. С Лепым ты не мог не встречаться. На улице, на реке. А теперь скажи мне откровенно: почему из дому ушел?

Я онемел. Чего угодно, лишь не этого вопроса ожидал. Откуда, от кого он мог узнать?

— Плохо. Очень плохо, Гера. Ты стал неискренним. Скажи мне — и поверь, что я тебе добра желаю, что

произошло? Дома неприятности? Мать зашпыняла? Отец наказывает? В школе учеба не совсем гладко идет? Или еще что? Почему из дому-то ушел? Или тебя на этот шаг кто-то подбил?

— Никто меня не подбивал. Просто не пошел, да и все,— замкнулся я.

«Ишь чего захотел — чтобы я друзей предал»,— воспротивился я мысленно.

С этого мига мне стало ясно, что ничего ему не скажу. Не мог я рассказывать этому чужому человеку об отце, о его отношении ко мне. И о себе я подумал с какой-то ясной беспощадностью: сам во всем виноват! Делал бы то, что положено, не было бы ничего этого. Испорченный я человек. Не как все обычные, хорошие люди. Правильно Александрушка пилила меня в своем кабинете. Я ту беседу запомнил. Завуч раздраженно выговаривала мне:

— Ну, почему ты, Долгов, не хочешь быть таким, как все? Почему? Учишься неважно, хотя способности у тебя есть. Отвечай: почему? Это так просто: выучить слово в слово, что задано учителем.

— Я не могу слово в слово. Не получается.

— Почему же — не получается? Другие могут, а ты — не можешь?

— Я могу повторить, как понимаю. Своими словами.

— Своими,— разозлилась Крысовна.— Как понимаю. Да ты у нас, Долгов, мыслитель. А этого от тебя никто не требует. Следовательно, никакие твои мысли никому не нужны. От тебя требуется вы-у-чить, понятно?— вы-у-чить то, что положено. И запомни на всю жизнь: повторение — мать учения.

— Зачем я буду зубрить то, что и так понял?

— Знаешь, Долгов, ты либо будешь учиться, как все и как полагается по программе, либо распростишься со школой. Такие, как ты, нарушители режима, школе не нужны.

На том мы и расстались. Похоже, школе я и в

самом деле не нужен, права Крысовна. Не хватает мне послушания. Не умею я безоговорочно подчиняться приказам старших. Это мой большой недостаток.

— Так что,— услышал я голос Батулы,— не глупи. Будешь ты со мной откровенным? Пойми, я тебе помочь хочу. Пока не поздно.

«Ничем ты мне не поможешь,— ответил я начальнику мысленно.— Никто мне не поможет. Только я сам».

— Так. Не хочешь. К сожалению, ты очень скоро убедишься, что напрасно вел себя со мной неискренне. И повторяю тебе, как сыну: не надо сюда больше попадать. Пойми — ты уже взрослый. Дорогу в жизнь следует начинать не с милицейских приводов и протоколов. Без образования в жизни трудно сделать то, что тебе предстоит сделать. Парень ты неглупый, вот и не валяй дурака. Топай домой. Условились?

Явившийся дежурный спросил начальника:

— Под расписку родителям?

— Отпустите его. Сам до дому дойдет. Не обманешь меня, Долгов? Домой пойдешь?

— Домой,— ответил я, чтобы не видеться с отцом.— А Сапогина тоже отпустите?

Батула долго изучающе смотрел на меня, тяжело вздохнул и ответил:

— И Сапогина отпустим. Чего ему у нас делать? Иди. Прощай. Отцу напомни, чтобы он пришел ко мне в удобное ему время. Я здесь — всегда.

С облегчением покинул я обшарпанные, окрашенные в темно-зеленый цвет и захватанные стены милиции, с силой захлопнув за собой раздрызганную входную дверь.

Куда теперь? Дождусь Гундосика.

Ждал я его довольно долго. Начало смеркаться. Появился он вместе с тетей Пашей. Когда она успела пройти в отделение, я не заметил.

«И вовсе никакая не страшная милиция,— подумалось мне.— Чего ее боятся? И Батула — ничего му-

жик. Справедливый... Ох и память у него! Такую мне бы...»

— Пошел я,— объявил Венка тете Паше, когда я к ним приблизился.

— Куда поперлись-то?— напутствовала нас Венкина маманя.

— По своим делам. Тебе-то чего? Поканали, Гера.

— Ты что с ней зубатишь? Мать все-таки,— пожурил я друга.

— Да какая она мне мать... Деньги менты казачнули?

— О чем ты?

— Не жухнули? По-русски не понимаешь? Деньги где?

— Вот. Отдали все, до копейки.

— Прожрем? На пирожках?

— По штуке. И в баню идем, в прожарку. Не могу больше — кусаются. А после — к Шилу.

— Непривычный ты, Долгов, они тебя поэтому и кусают. А меня — нет. Ну да пошли!

— Куда?

— На пару, темнота. Я заодно Шекспира заберу. И фантики. В Ленчиковом лопатнике притырены.

При упоминании Ленчика я моментально вспомнил праздничную городскую площадь 9 мая 1945 года, и меня захлестнуло возмущение.

— Сволочь твой Ленчик. Он — подлый вор!

— Тебе что — фраеров жалко?— хорохорился, явно копируя кого-то, возможно самого Питерского, Гундосик.

— А ты кто — не фраер?

— Я? Я босяк! Меня в закон блатные примут, потому как я с ними на воле бегаю, и братан мой в колонии чалится... Во!— блатным буду, чистокровным...

— Ну и шуруй к своим блатным, если у тебя ни стыда ни совести нет. И заткнись — не смей об овоще мне говорить — глупость чужую повторять, как попугай. Ты лучше сам своим шарабаном подумай: с ворами или со мной? Выбирай!

Еще малость, и мы расстались бы. Гундосик, однако, колебался в выборе. И я продолжал:

— Если ты своего Ленчика ждешь, то и жди. Я один, без тебя, на работу устроюсь. Ну?

Венку охватило смятение. И видя, что я решительно приготовился выполнять свое обещание, он спросил:

— А в Ленинград чухнем?

— Непременно. Как только заработаем на билеты.

— Ну тогда айда...

Поздно вечером, но без приключений, мы добрались до ремзавода, в нескольких километрах от Челябинска, недалеко от деревни на берегу озера.

Усталые, измочаленные событиями дня до опустошения, мы сидим за длинным, грубо сколоченным дощатым столом, по обе стороны которого стоят такие же скамейки. Барак выглядит неуютным, как сарай. Нас окружили коротко стриженные ребята в рабочих спецухах, одни почище, другие позамурзаннее, не отмывшиеся, с въевшимися в поры кожи черными точками. Они все явно старше меня. У некоторых — предмет моей зависти — пробиваются усы. И говорят эти бывшие детдомовцы басовито, не то что мы с Венкой — Гундосик вовсе пискля и с виду замухрышка.

Шила нет в бараке — на работе. Его-то мы и ждем, глазея по сторонам. Слушаем радио, висящее за нами, на стене, да отвечаем на бесконечную вереницу вопросов любопытствующих детдомовцев.

Наконец появляется Валька. Он узнал меня и Гундосика. Деловой парень — распоряжается, командует. Ребята ему подчиняются. У них тут, видать, дисциплина.

В умывальной комнате, совсем не отапливаемой, Валька, оголившись по пояс, плещет на себя холодной водой, фыркает и беседует с нами, в основном — со мной. И это беспокоит Гундосика, он нервничает, суетится, предвидя что-то неблагоприятное для себя.

— Скоро воспет придет. Он у нас — человек! Но слишком честный. Все обскажешь ему, как есть, а день

рождение залепишь такой: двадцать восьмого декабря тридцатого. Короче: скоро шестнадцать. Не забудь, а то придется уматывать.

— Я тоже так буду кричать,— вклинился Венка.

— Не поверит,— сказал Шило.

— Поверит. Я умею...

— Он мужик тертый и битый, сам бывший детдомовец и колонист, не проведешь.

Гундосик приуныл.

— Вообще-то в механический цех работяги нужны,— продолжал Шило.— Только темнить не советую. Лучше скажи, как есть.

Но Венка ершился, надеясь обмануть воспитателя. И я высказался за друга: ничего, что маленький, зато сообразительный и ловкий. На заводе у мамы во время войны такие же ребята, не старше, работали — на сборке. А продукция, чего ответственней придумаешь,— мины. Для фронта!

Как-то неприметно появился воспет. Поначалу он мне не понравился. В такой же серой, из бязи, форменной одежде, что и его подопечные, и стрижен тоже под нулевку, он выглядел очень состарившимся детдомовцем. Хмуро спросил ни у кого:

— Где Струнков? Почему опять не вышел на смену? Кто знает?

— Из города не вернулся,— пояснил Шило.

— Я ж запретил ему. Он к хозяину, что ли, рвется? Режим злостно нарушает. Не хочет здесь честно вкалывать — под конвой пойдет, на лесоповал. Он этого, что, не понимает?

— Толковали мы с ним. По душам,— сказал снисходительно Шило.— Обещал. Но вот... Вертухнулся.

— Если мое слово ему не авторитет, пусть послушает мнение совета. Сегодняшний его прогул обсудить. И, если виноват, наказать. Никакую туфту в оправдание не принимать. Предупредить: не хочет по законам коммуны и вообще по законам нашим жить — пусть лагерную лямку тянет.

— Будет порядок, Николай Демьянович,— заверил Шило.— Мы со Струнка стружку снимем. Он у нас попляшет. Второй раз подводит под монастырь.

— Не забывайте о справедливости. Все взвесьте: и против, и за него. Учтите: судьбу человека решаете. О справедливости не забывайте, это — главное.

— Все будет выполнено точно, по штангельциркулю, Николай Демьяныч. Если уж припекло — у него маруха в городе, договорился бы о подмене.

— Короче: сразу же, как нарисуется,— собирайте совет.

— Лады.

Неулыбчивость воспета, скучный тон его речи, какая-то вялость движения насторожили меня: ох и зануда, видать.

— Николай Демьяныч,— продолжил Шило.— Вот тут приехали из Челябинска, просятся к нам.

— Здоро́во,— поприветствовал нас воспет.— Лопать будете?

— Мы вообще-то...— начал было я.

— Как из пушки жрать хочем,— поспешно перебил меня Венка.

— Садитесь за стол. Сейчас ужинать будем. Кто дежурный?

— Я,— откликнулся один из парней.— Сёдня картошка мятая без ничего и по неполной кружке молока. Хлеб — паечный, лепешек не напекли — отруби кончились. В обед на болтушку остатки засыпали.

— Поделишь и на этих двоих. Как вас по именам-то? По именам, не по кликухам.

Мы назвались.

Вблизи я разглядел: у Николая Демьяновича было бледно-бумажное лицо, будто он никогда не попадал на солнце.

— Сейчас я сполоснусь малость и начнем толковать за вас,— сказал он хмуро.

— Чего он такой?— спросил я Шило, когда воспет вышел.

— Ухайдакался — чего. Две смены оттрубил. Вместе с нами вкалывает, наравне, не смотри, что воспет. А сегодня еще и за Струнка.

— А где он живет?

— Здесь же, в бараке. В каптерке. Он с нами в коммуне. В общий котел свою зарплату бросает. Даже две. И лопает с нами. Такой вот наш воспет.

Прошло несколько минут, Николай Демьянович вернулся, выглядя уже бодрее.

— Братва,— обратился он к коммунарам.— Забьем козла перед ужином? А ты рассказывай, мы слушаем.

Я застеснялся — столько глаз в меня уставилось, столько ушей оттопырилось, что ограничился несколькими словами, еле-еле пролепетав их.

— Да ты не стопорись,— подбодрил меня воспет.— Здесь все обо всех все знают. У нас — коммуна.

— Я все сказал,— пробормотал я.

— Родителей не жалко?— спросил воспет, стукнув костяшкой домино и не глядя на меня, чтобы, видимо, не смущать еще больше.

— Жалко. Маму и братишку.

— А отца нет?

— Пахан у него — пьянчуга,— ввернул Шило.— Запойный. Ханурик!

— Не ври!— вскипел я.— Никакой он не запойный. И не ханурик вовсе... Он под Сталинградом воевал. И Будапешт освобождал. У него медали есть. Боевые.

— Если у тебя такой хороший папочка, чего ж ты сюда прикостылял, мальчик?— язвительно спросил меня какой-то костлявый парень с отсутствующими передними верхними зубами.

— Не лезь, Карзубый,— одернул его Шило,— куда собака...

— Лузгин,— поправил Вальку воспет.

— Лузгин,— повторил Шило.

— Я... я...— замялся я: комок подступил к горлу.

— Успокойся,— сказал мне примирительно Николай Демьянович.— Значит, дома тебе не светит?

Я молчал. А во мне бушевала буря. Пот выступил на лбу. И весь я повлажнел — от волнения. Решалась моя судьба.

— Хочешь с нами жить и работать?— спросил воспитатель.

— Хочу.

— Сколько тебе стукнуло?

— Шестнадцать. Двадцать восьмого декабря будет.

— Ну, ну...

Больше всего в этот момент я опасался, что воспет уличит меня во лжи, и от этого переживания стало трудно дышать. Превозмогая себя, твердо сказал:

— Четырнадцать. Пятнадцатый в мае пошел... Честно.

Венка ткнул меня в бок. Я оттолкнул его руку локтем и взглянул в глаза воспета — будь что будет!

— Учти — работа у нас в три смены. Нелегкая. Короче — тяжелая. И грязная. К тому же — ответственная — трактора ремонтируем. Живем по режиму. Потянешь? Не испугаешься?

В голосе воспета я уловил что-то такое, что сразу сбросило с души моей давившую тяжесть. А моего признания он будто не расслышал.

— Не испугаюсь,— поспешил убедить я воспета.

Но как-то не по себе мне стало от слова «режим». Не умею я безоговорочно действовать по чьему-то приказу. Не могу безропотно подчиняться любым велениям старших. А теперь, хочешь не хочешь, придется смириться. Хотя с детсадовских времен испытываю отвращение к этому слову — частенько же меня наказывали за «возмутительное» непослушание и «неположенные» увлечения — стоянием в углу, уверяя, что так будет всегда, если я не прекращу нарушать режим.

— Нет, не испугаюсь,— повторил я уверенно.

И подумал: лишь бы не домой, лишь бы отца за спиной не было, лишь бы не опасаться ежесекундно, что на за-

гривок с размаху опустится его тяжелый кулачище. Лучше уж — режим.

— А что делать умеешь, Долгов?— спросил воспет.

— Все умею.

Кое-кто из ребят заулыбался, раздались реплики:

— Универсал.

— Слава универсалу — по хлебу и по салу!

— Профессор! Кислых щей...

Воспет неодобрительно глянул на остряков-самоучек, те умолкли.

— Так что ты умеешь?

— Воду носить, пол мыть, дрова пилить и колоть, печь топить...

— Этим ты займешься после основной работы. А так — никогда не слесарил, не приходилось? На заводе или в мастерских не рабатывал?

— Нет.

— Так. Сначала на мойке потрудишься. А после — посмотрим, куда тебя определить. Условия такие: весь заработок — в общий банк. Из него платим за доппродукты, по заявлениям, устным, деньги выдаем на что-то нужное, для покупки барахла и так далее. Годится?

Я согласно кивнул — горло от волнения перехватило.

— Всем заправляет совет — пятерка. Выборная. А всего нас тридцать один гаврик. Ты — тридцать второй. Братва! Примем Геру Долгова в свою семью? Кто — за?

Против оказался один — Карзубый.

— Доказательства?— потребовал Шило, председательствующий на собрании.

— Чухнет он от нас — домашняк. Нежного воспитания. Такие сразу слюни распускают,— резко сказал Карзубый.

— Ручаюсь за него,— заявил Шило.— Я этого пацана лично знаю.

— Если подписываешься, тогда другое толковище,— сдался Карзубый.— А я остаюсь при своем мнении.

Как мне сразу полегчало, когда воспет произнес.

— Принят.

И тут Венка, ерзавший рядом со мной, как на гвозде, выкрикнул:

— А я — тридцать третий. Я тоже все умею. И на мойку согласный. Хоть посуду, хоть что...

— Стаканы от пива ополаскивать,— съязвил Карзубый.

— А с пряников пыль сдувать умеешь? С кондитерской фабрики заявка поступила,— схохмил другой коммунар.

— Братцы, имейте совесть,— урезонил ребят воспет и внимательно, даже пристально всмотрелся в Гундосика. И глаза у него стали такими, словно испытывал боль, которую терпел и скрывал. Такие глаза у мамы бывали, когда что-то очень неприятное обрушивалось на нашу семью.

— Тебе сколько лет? — спросил он тихо.

— Пятнадцать,— выпалил Венка.— Шешнадцатый.

— Эх,— выдохнул Николай Демьянович.— Не надо, Вена, слона в спичечный коробок толкать. Десять лет тебе.

— Все равно примайте в коммуну,— отчаянно потребовал Гундосик.— Не раскаитесь, я сильный.

— У тебя и шея, как у быка...— опять сыронизировал Карзубый.—...хвост. Гы-гы...

— Он — ловкий,— вступился я за друга.— Примите его...

Лицо воспета перекосилось, как от занывшего дуплистого зуба.

— Эх, Вена, да разве я против тебя. Всех бы вас таких, бедолаг, возле себя собрал, да не имею права. Меня за тебя по головке не погладят, пустят в тасовку, не оправдаешься.

— Ну, возьмите,— взмолился Венка.— Возьмите...

— Не могу,— выдохнул воспет.— Братва не даст скрапить — не могу, малолетка ты.

И тут случилось непредсказуемое. Гундосик завопил — дико, изо всех сил. Он повалился со скамьи на пол, уронив ворохом рассыпавшуюся книгу, и стал кататься, рыдая и что-то выкрикивая. К нему бросились ребята, я бухнулся рядом, а он вырывался и даже кусался. Я мельком, случайно взглянул на воспета. Лицо его побелело еще больше, и в глазах, похоже, светились слезы.

Он встал из-за стола, сказав никому:

— Успокойте его...

И вышел из жилища.

Дежурный уже расставил керамические миски с картофельным пюре, и многие сели за стол, приступили к еде.

— Не хочу, не хочу! — орал Венка.— Не хочу домой!

— Венк!— потянул его я за рукав.— Ты — чего? Что с тобой?

Но он не слышал меня, сотрясаемый горем — огромным горем, которое, казалось, давило и корежило его.

Шило подхватил Гундосика под мышки, поднял и усадил на скамью, причем оголился живот сопротивлявшегося Венки, с крупным пупом, и какой-то коммунар возрадовался этому зрелищу и засмеялся.

Гундосик сидел, поникшии, на скамье и, закрыв лицо цыпочными руками, рыдал. А позади нас развеселой песней надрывалось радио, словно пыталось заглушить Венкины рыдания.

— Почему я такой нешасный уродился! — гугнил он, захлебываясь.— В колонию не содют — лет мало, в детдом не берут — отец-мать есть. Э-а... Чтоб они подохли, маманя с папаней!

— «Легко на сердце от песни веселой...»— назойливо верещал репродуктор.

Я обнял Венку, но он отталкивал меня. Тогда я принялся подбирать листки книги, часть которых уже ходила по рукам коммунаров — они разглядывали иллюстрации.

Вернулся Николай Демьянович.

— Успокойся,— сказал он Венке доброжелательно.— Я за тебя, Вена Сапогин, скажу слово в детдоме. Может, и возьмут. Как исключение.

— Да, возьмут, как же,— всхлипывал Гундосик.— Держи карман шире... Мне сказала тетка из районо, что сирот много, а у меня... А-а-а...

— Да, ты не сирота, ты несчастнее, чем сирота,— сказал Николай Демьянович.— Писать умеешь?

— Умею. Я грамотный. Шекспира читаю,— Венка ожил и завертелся, озираясь по сторонам в поиске тома.

Я протянул ему книгу.

— Вот,— показал ее воспету Венка.

— Хрен с ним, с Шекспиром,— сказал Николай Демьянович.— Напиши все свои данные: родился, крестился и прочее. Как звать родителей. Где работают.

— Нигде не работают!— закричал Гундосик зло.— Дармоеды!

— Только правду о себе пиши, дошло? Без закидонов. Я с той бумагой в детдом поеду, а потребуется — и в районо, гороно... Пока не вышибу. А ты у нас поживешь.

Венка прекратил метаться и суетиться и лишь икал беспрестанно.

— Дайте ручку и чернила...

— Сейчас — ужинать. А то все остыло.

Венка утер слезы и схватил ложку. Ему подтолкнули миску, поставили кружку, маленький ломтик черного хлеба положили.

— У нас тридцать два рубля есть. Кому отдать? Мы их честно заработали. В утильсырье,— спросил я, обращаясь к Николаю Демьяновичу.

— После. Ешь,— сказал воспет.

Мы принялись за ужин. Венка все еще икал и не всегда попадал ложкой в рот, звякал ею по зубам.

За столом почти никто не разговаривал. Лишь мой сосед пробурчал:

— У меня нашлись бы отец с матерью да дом родной — от радости на потолок запрыгнул бы...

Но его никто не поддержал. А я вспомнил пустой дверной проем квартиры Сапогиных и широкую неряшливую кровать, на которой спал злобно зыркавший на нас Шарик, и подумал: «Чему бы ты обрадовался?»

После ужина мы с повеселевшим Венкой приволокли из каптерки воспета матрац, ватную подушку, простыни и одеяло, и завалились спать. Валетом.

Несмотря на гнетущую усталость — к гудящим рукам и ногам будто по тяжелой гире привязали,— я не смог сразу заснуть. Рядом, на ближайшем месте соседней двухъярусной деревянной вагонки, расположился Карзубый. Его враждебность я чувствовал даже на расстоянии. Но не это беспокоило меня: я старался представить нашу с Венкой будущую жизнь в коммуне.

Радио тут, вероятно, никогда не выключалось, и я невольно слушал с грустью знакомую, уже наизусть запомнившуюся песню о соловьях, не дающих солдатам отдохнуть, и она-то связала меня с домом — сейчас ее слушают и там... Вся семья в сборе, кроме меня.

И надо же такому произойти: зазвучала прекрасная мелодия, посетившая меня в то далекое летнее солнечное утро, когда я проснулся в сарайке и понял, что волшебная музыка вовсе не чудится мне, а струится из круглой эбонитовой коробки наушника, лежащего возле моей подушки-мешочка, набитого высушенной огородной травой.

Мелодия была та же, но без голоса певицы. Сердце мое сладко зашлось, и я опять, как тогда, летом, замер, пока последний звук не перекрыли барачные шумы. Голос диктора произнес: «Мы передавали музыку Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт». Я сразу и навсегда запомнил название произведения — ведь мне так хотелось слушать ту музыку еще и еще, пока не наступит насыщение.

Только что услышанное, когда я закрыл глаза, подсветило как бы изнутри воссозданное памятью лицо

Милы, и с ней, с Милой, мне стало спокойно, и я как бы растворился в забытьи.

Во сне Венка крутился, брыкался, что-то возбужденно бормотал и выкрикивал, несколько раз за ночь будил меня.

Утром, умывшись и позавтракав вареной картошкой и молоком, я отправился с гурьбой ребят на завод.

— Какие же они все чумазые,— подумал я, встретившись в раздевалке с коммунарами, которых мы пришли сменить.

Мне дали промасленную насквозь чью-то спецовку, показали большущее корыто с керосином, в котором отмокали тракторные детали, подлежащие ремонту.

Работа оказалась не сложной — отскабливать от грязи разные шестеренки, тяги и валы, отмывать их тряпкой дочиста, протирать ветошью насухо.

В обеденный перерыв в цех, закопченный, холодный, продуваемый сквозняками и темноватый, пробрался Венка и яростно взялся мне помогать. Николай Демьянович, углядев его, выпроводил из цеха.

— Ништяк,— заверил я друга, встревоженного таким с ним обращением.

Но взвинченный Венка еще несколько раз заглядывал в цех и лишь к вечеру убрался в общежитие, пообещав, что если детдомовцы не гайнут его и он не рванет к тете Доре, то будет меня там ждать.

Дома меня тоже ждут. Мама, наверное, плачет. Сердце у меня сдавило жалостью. Сегодня же напишу на Свободу письмо. Обо всем. Чтобы мама не переживала. И надо узнать у Николая Демьяновича, могу ли я в выходной поехать в город — повидаться со Стасиком и друзьями. И — с ней...

Какое это прекрасное, блаженное чувство — осознавать себя свободным и равноправным, самостоятельно зарабатывающим на жизнь! Отец уже не упрекнет: иждивенец! И посему — бесправный, существующий лишь его милостью.

Бултыхаясь в ванне с грязным керосином, я вовсе не испытывал неудовольствия или стыда, что занят столь черной работой, и усердно очищал одну железяку за другой.

К концу смены я изрядно устал. Зато на верстаке высилась гора подготовленных мною деталей. И во мне проклюнулась гордость — я добросовестно отработал первый заводской день, никого не подвел, справился с заданием.

В табеле, напротив моей фамилии, Николай Демьянович вывел крупную восьмерку. И впервые улыбнулся. Мне. Как равному.

СОДЕРЖАНИЕ

Рязанов Ю. М.

Р 99 Родник возле дома: Рассказы.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991.— 256 с.: ил.

ISBN 5—7529—0380—7

1 р. 50 к. 60 000 экз.

Объединенные одним героем и одним — военным — временем рассказы правдиво и тепло повествуют о ребятах той суровой поры. Основа книги автобиографична. События происходят на юге Урала, в Челябинске, где прошло детство автора.

Адресуется старшим школьникам.

Р $\frac{4803010201-030}{М158(03)-91}$ 55-91 **ББК 84Р7**

Рязанов
Юрий Михайлович

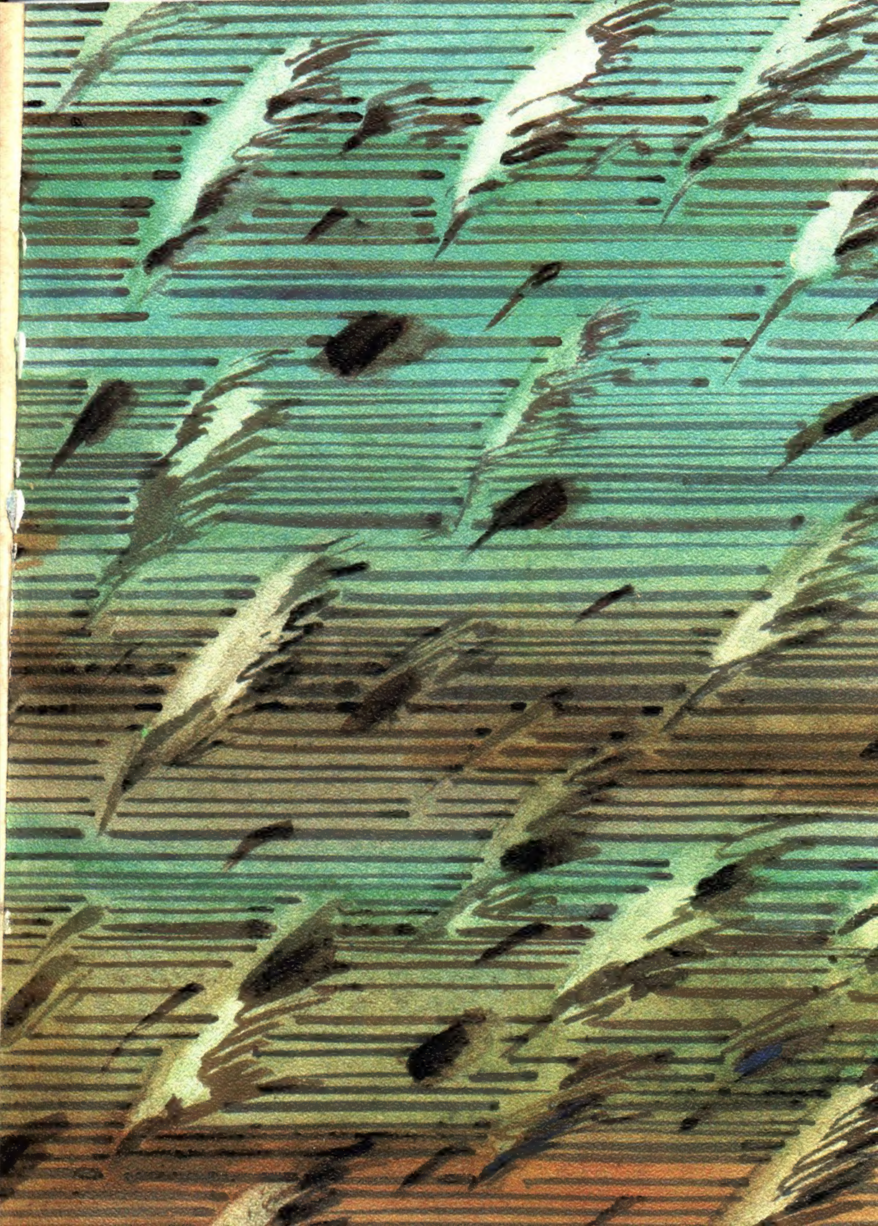
Родник возле дома

Редактор С. Марченко
Художник П. Болюх
Художественный редактор М. Кошелева
Технический редактор Т. Черепанова
Корректоры И. Тарская, Н. Тунгусова

ИБ № 2046

Сдано в набор 10.08.90. Подписано в печать 29.03.91.
Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр.-отт. 11,9. Уч.-изд. л. 11,5.
Тираж 60 000. Заказ 316. Цена 1 р. 50 к.

Средне-Уральское книжное издательство,
620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография «Уральский рабочий»,
620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.



1 р. 50 к.



Свердловск
Средне-Уральское книжное
издательство
1991

Юрий Рязанов **Родник возле дома**